

Старый дуб у дедовского дома. Жизнеописание благопристойной семьи

Автор:

Евгений Мосягин

Старый дуб у дедовского дома. Жизнеописание благопристойной семьи

Евгений Потапович Мосягин

В новом романе писатель-фронтовик, участник партизанского движения в Белоруссии, Евгений Потапович Мосягин (1926 г.р.) представляет хронику разрушения патриархальной российской семьи на изломе 1930-х гг., когда традиционный уклад и вековые устои рушились под тяжестью «революционных» событий...

Судьба подрастающего поколения, вынесшего через несколько лет на своих плечах всю тяжесть страшной и беспощадной войны, дается сквозь ракурс восприятия главного героя, родных и близких которого перемалывает мельница безжалостной государственной машины.

Книга предназначена для читателей всех возрастов, любящих качественную современную прозу.

Евгений Мосягин

Старый дуб у дедовского дома

Жизнеописание благопристойной семьи

Памяти родителей моих посвящаю. Через страдания им не суждено было прийти к радости

Глава 1

Прикосновение к прошлому

Старый дуб у дедовского дома

В пору моего детства на нашей улице росло много деревьев. Некоторые из них я помню до сего времени, хотя от них давно уже никаких следов не осталось. Из всех деревьев той далекой поры уцелел только один дуб, что стоял около дома родителей моей матери. Это было очень красиво и правильно: около старинного бревенчатого дома рос высокий и старый дуб. Теперь на нашей улице нет дедовского дома, как нет и других домов, стоявших с ним по соседству. На месте этой старинной застройки стоят теперь однообразные коробки пятиэтажных «хрущовок». Они, эти здания, расположены на некотором отдалении от красной линии и улица в этом месте получила некий излом в глубину. Дуб в результате такой перемены остался стоять как бы на пустыре и совершенно не в том месте, где полагается стоять всякому дереву на городской улице, а именно на зеленом газоне, который разграничивает проезжую часть улицы от пешеходных дорожек и тротуаров.

Теперь все не так. Вековой дуб стоит одиноко, почти посредине вновь образовавшегося уличного участка. Утрачено гармоничное единение человеческого жилья и рядом стоящего дерева.

В стародавние времена старый дуб у дедовского дома являлся естественным украшением нашей улицы. Правильной формы ствол более чем в два обхвата, с крепкой, как железо, корой уходил в землю такими могучими лапами корней, что, казалось, все вокруг может истлеть, рухнуть и рассыпаться, а он останется вечно и незыблемо стоять на своем месте.

Сколько ему лет? Специалисты определили бы, а я думаю, что по самому малому счету он ровесник Новозыбкова, а может и того старше. Триста лет – небольшой возраст для дуба. Мог же он стоять еще в том лесном урочище, где начинали селиться первые жители слободы Зыбкой, положившей начало нашему городу. Не зря же полковник Миклашевский триста лет тому назад предписывал сотнику Топальскому: «...над речкою Корною, у вершине, у дуброве слободку до ласки войсковою осадити людьми...».

Видать, была здесь дубрава знатная, если о ней был осведомлен даже такой важный управитель огромных территорий, каким был в те времена полковник Михаил Миклашевский.

Могло же быть так, что строились дома, формировались улицы, и дуб этот не срубили, и он вписался в улицу и пошел себе разрастаться все выше свободнее и красивее. Время проходило мимо него.

Давным-давно исчезли пирамидальные тополя, что стояли напротив нашего дома поближе к Шевелевым, нет уже каштана, что рос у дома Симы Соркиной, и нет уже тех людей, что могли бы помнить и те тополя, и тот каштан, и саму Симу Соркину. Много лет прошло, как спилил наш сосед Митька грозившую рухнуть старую дуплистую ракиту, под которой в детстве мы ловили хрущей, нет клена, что стоял у дома Юрченихи, погибли от лютого мороза перед войной многие сады во всей округе, и нет их давно в помине. Даже тополь, который после войны посадил наш отец, успел вымахать в огромное дерево и закончить свой век под пилой нерадивого родственника, что жил в нашем доме после смерти моих родителей. А сколько выкорчевано старых садов и посажено новых, которые, в свою очередь, тоже успели отжить свой срок на земле.

Как переменялась жизнь, сколько раз она подходила к своему завершению и начиналась сначала. Сколько людей родилось, прожило жизнь, состарилось и ушло на вечный покой. Две мировых войны прогремело над Новозыбковым, две революции ужасом стихийного бунта и гражданской войны обожгли город.

А дуб все стоит на нашей улице. Он не только реликвия Новозыбкова, он еще и постоянный свидетель жизни старшего поколения нашей семьи. Под этим дубом родилась и выросла наша мама. Это под его кроной прошло ее детство, это на его зеленеющие ветви смотрела она из окна в своем весеннем девичестве и мечтала о будущем, о своей судьбе, о дальнейшей жизни. Его желтую листву подметала она около дома и во дворе в тихие осенние дни.

Под этим дубом стояли те лошади, на которых когда-то отвезли нашу юную маму под венец в церковь на Богородицкую улицу... Под этим же дубом отпели панихиду по ее родителям.

Дедовский дом долгое время принадлежал чужим людям, и я в нем никогда не бывал, а дуб, растущий у этого дома, казался мне немножко моим. Как бы по памяти родства, он малость принадлежал мне. Я ходил в школу мимо этого дуба и всегда старался дотронуться рукой до его твердой коры. Часто бывало так, что в памяти моей нет-нет, да и шевельнется что-то милое и далекое. Я представлял себе, как жили под этим дубом дорогие и неведомые мне мои дедушка с бабушкой, и я представлял себе, как бы хорошо было, если бы они дожили до встречи со мной.

Раньше я иногда думал, что будет с дубом, когда на Шеломовской улице сломают дедовский дом? Теперь это произошло, дом сломан. Что будет с дубом?.. А ведь он, вероятно, последний из тех дубов, что росли в незапамятные времена в той дубраве, где зачинался наш город. Он, как будто, чувствует свою недобрую судьбу, его вершина уже начинает усыхать и крона его уменьшается.

А славяне всегда любили дубы, относили их «...к числу священных деревьев и посвящали дуб Богу грома и молнии – Перуну. Под сенью могучих дубов приносились жертвы богам, созывались военные советы, принимались важные решения. И не зря Плиний Старший писал о дубах, что “нетронутые временем, одного возраста со вселенной, они поражают своею бессмертной судьбой, как величайшее чудо мира”».

Так пишет о дубах в книге «Земля брянская» ее автор Цапенко. Речь здесь идет о естественной жизни дуба, которая может продолжаться от 400 до 1000 лет. Но на земле все во власти человека.

Какая же судьба предназначена старому дубу на Шеломовской (ныне Гагарина) улице у бывшего здесь когда-то старинного дома моего деда?

Старшее поколение моей семьи

Простые, незнатные люди не имеют своих родословных. Кто из нас может назвать своих предков, тех людей, что жили в отдаленные времена и через долгую череду поколений подарили нам наши жизни?

Родовитые говорят: мы Рюриковичи, мы Плантагенеты, мы Гедиминовичи... Не родовитые ничего подобного о себе сказать не могут, потому что утратили память о своем роде. Мы живем так, словно только вчера пришли в эту жизнь. В лучшем случае, мы знаем только наших дедушек и бабушек, а дальше в значительном большинстве – неизвестность, мрак. Мы проявляем мало интереса к жизни старшего поколения, и его представители навеки уносят с собой бесценную информацию не только о своей жизни, но и живые, натуральные сведения об истории общества и государства, не искаженные никакими идеологическими пристрастиями. В редких домах сохранились старинные семейные альбомы, а о дневниковых записях или о каких других семейных архивах и говорить не приходится. В русской «Бархатной книге» и в более поздних губернских родословных книгах содержались родословия русского дворянства, составленные с документальными обоснованиями и имеющие характер научных исследований. Это были ценнейшие исторические материалы. Многие из них утеряны в результате крупнейших потрясений общественной и государственной жизни России, о чем, безусловно, можно только сожалеть.

Коммунистическая идеология жестко вела нас в «светлое будущее», цинично обрывая все, что могло связывать нас с нашим прошлым. В торжестве отречения от кровных связей с нашей истинной историей нас принуждали отвергнуть великие уроки жизни наших предшественников. А между тем утраченные родословия многих знатных людей нашей страны могли бы послужить более глубокому пониманию истории государств, так как в частной жизни этих людей не могли не отразиться эпоха и события того времени, в которое они жили. Мы могли бы глубже понимать связь времен.

Что же касается отсутствия родословных у простых людей или утраты ими какой-нибудь иной формы семейной памяти о предыдущих поколениях, то это можно объяснить только неблагоприятными условиями общественно-социального устройства России и низким уровнем культуры развития народа.

Но мы не безродные, есть у нас наши родословные, только они никем не записаны, и если знатные люди стояли у кормила истории нашего государства, то простые, незнатные люди эту историю создавали.

Я понимал это, и мне всегда недоставало знаний о жизни старших поколений моей семьи.

Отец и мать мало рассказывали нам о своих родителях. Мать воздерживалась от таких разговоров, вероятно, потому, что она по своему происхождению была из купеческой семьи, хоть и не очень богатой, но, по официальной идеологии, принадлежащей к «эксплуататорскому классу». Она просто боялась навредить нам, детям и мужу своим «нетрудовым» прошлым. Отец мало и неохотно говорил о своей старине по другой причине: он был родом из бедной рабочей семьи и мало что интересного, по его мнению, можно было рассказывать о стесненных обстоятельствах бытовой жизни, в которых прошли его детство и юность до начала Первой Мировой войны.

Мне доводилось иногда в разговорах с разными людьми спрашивать о том, знает ли кто из них что-нибудь о своих предках, помнит ли их могилы и всегда получал одинаково отрицательный ответ.

Почему это? Может, катастрофический облом государственного устройства и революционное разрушение старого мира освободило людей от памяти об их родственных связях со старшими поколениями, призвало народ отречься от этого мира и «отряхнуть его прах» со своих душ и конечностей? Может, так проще жить, но возможно ли с нуля, на пустом месте, начинать строительство нового мира и без памяти о прошлом создавать новое общество?

В том, что я имею мало сведений о моих корнях и истоках, имеется доля и моей вины. Горько это сознавать, но, к моей беде, это так. По-настоящему я знаю только отца и мать. Были у меня тетки по отцу и матери, был один дядя, но по прямой линии родства я знал только родителей. Что же касается дедушек и бабушек, то я опоздал с ними встретиться, мы разминулись с ними во времени: они все поумирали задолго до моего рождения. Время развело наши жизни и ни дедушки мои, ни бабушки ни в малейшей степени не могли предполагать, что когда-то после их жизни родится их внук, который будет горько сожалеть о том, что мало чего знает об их существовании на земле. Я упустил возможность порасспросить своих родителей об этом.

Теперь же все это ушло в безвозвратное прошлое и беспокоит меня оттого, что никто уже и никогда не расскажет о жизни, скрытой непостижимым движением времени. Стыдно сказать, но я не знаю даже полных имен своих дедушек и бабушек. Последний из старшего поколения моей семьи – отец моего отца,

дедушка Ефим, умер в 1916 году. Я не знаю не только полных имен моих дедушек и бабушек, но я не знаю их могил.

Об этом разговор особый.

Наш город обосновали старообрядцы или раскольники, как их называли блюстители нового, никоновского православия. Это были люди, бежавшие из центральной России от гнева царя Алексея Михайловича и селившиеся в глухих лесных урочищах нашего края. Их счастливо миновала угроза кнутабойной расправы на дыбе или заточения в страшных подземельях старинных северных монастырей. Они избежали ужасной участи быть заживо сожженными в деревянных срубах или церковных постройках. Их обошло это русское аутодафе, порожденное изуверской исступленностью религиозного фанатизма и государственным террором. Судьба была к ним милостива.

В начале XVIII века, во время войны России со шведами, старообрядцы, селившиеся в наших местах, объединились в боевые отряды и в стычках с врагом не раз одерживали значительные победы. Захваченные военные трофеи и пленных они доставили царю Петру Первому, в город Стародуб, где он держал в то время свою резиденцию. Великий Петр простил раскольников и высочайшей милостью своей пожаловал им право свободно поселиться на тех землях, которые они уже начали обживать.

Рождение свое Новозыбков ведет от 1701 года. Сначала это была слобода Зыбкая, и населяли ее тогда старообрядцы. Но время шло, слобода стала уездным городом и, конечно же, приезжали сюда и оседали на жительство люди уже нового вероисповедания. Они мирно уживались друг с другом, обострение первоначального религиозного противостояния сгладило время. В миру новозыбковцы жили дружно, но храмы строили разные – старообрядческие и православные. При жизни молились Богу по отдельности и на вечный покой ложились порознь. Старообрядческое и православное кладбища располагались на западной окраине города, и отделялось одно от другого только проезжей частью Кладбищенской (ныне Урицкого) улицы. Традиция раздельного погребения горожан по признаку вероисповедания соблюдалась только до революции. Советская власть в борьбе с религией устранила различия горожан по признаку принадлежности к той или иной вере, после чего и старообрядцев и православных начали хоронить на одном кладбище, на том, что было православным. Старообрядческое кладбище по неизвестным причинам городскими властями было ликвидировано. Снесли ограду и раскрыли его

ритуальную уединенность широкому простору полей, прилегающих к городу с юго-западной стороны. Разорили склепы, памятники и надгробья, растащили мраморные и гранитные плиты, разрушили ограды могил, сломали кресты, а потом на опозоренное кладбище, как на выгон, пустили скот. И стало место вечного успокоения многих поколений горожан пустынно и голо. Остались стоять только одиночные старые деревья, осеняющие своими зелеными кронами землю с поросшими травой едва заметными бугорками забытых и заброшенных могил.

Причина разорения старообрядческого кладбища до сего времени осталась для меня совершенно необъяснимой... Так, обычно, поступали победители, захватывая вражеский город, но коммунистическая власть не считала же себя победительным захватчиком нашего города.

Я помню, как мы с отцом и матерью ходили как-то по этому разоренному кладбищу и по каким-то давным-давно несуществующим приметам мои родители пытались отыскать могилы своих родителей. Но сделать это было невозможно. Я испытывал такое чувство, словно какая-то преграда разрезала время и навсегда отделила прошлое от настоящего. И тогда я решил, что нельзя допустить, чтобы навеки исчезла память о тех людях, что были моими прямыми предшественниками в этой жизни.

Что я могу рассказать о них? Очень немного.

Но совесть моя не дает мне покоя и возвращает меня в те давние годы, когда жили на новозыбковской земле мои предки, и долгом своим я считаю, хотя бы то малое, что сохранилось еще в житейской памяти об их существовании, рассказать в моих далеких от совершенства записях.

Придерживаясь традиции проследивать происхождения рода по мужской линии, первым делом я расскажу то, что мне известно о моем дедушке по отцу, русском человеке старообрядческой веры Ефиме Мосягине. Из отрывочных сведений о его жизни особенно интересной для меня была семейная легенда о том, что он отслужил царскую или, как тогда говорили, николаевскую службу сроком в 25 лет.

Дедушка Ефим прожил долгую жизнь.

Мой отец, младший из его сыновей, был призван в армию в 1913 году. С самого начала Первой Мировой войны и до демобилизации по ранению весной 1917 года отец находился в боевых частях на русско-немецком фронте. Во время военной службы в 1915 году поздней осенью ему представилась возможность ненадолго побывать в Новозыбкове. Дедушка Ефим в то время доживал свой век в Шведовской богадельне. Жену он свою похоронил, трое его сыновей были на войне, а две дочери разъехались по свету искать хорошего заработка и счастья. Отец рассказывал:

– Когда я пришел в Богадельню и спросил, как повидать отца, мне сказали, что дедушка Ефим колет дрова на хозяйственном дворе. Я не сразу подошел к нему, – говорил отец. – Я посмотрел, как он ловко управлялся с дровами, а ведь ему было тогда 85 лет.

Эта встреча моего отца с моим дедушкой была последней в их жизни. В следующем году дедушка Ефим помер.

В России до 1920 года все сведения о рождении, бракосочетании и смерти граждан записывались в церковные метрические книги, которые в большинстве своем были уничтожены в начале двадцатых годов во время разгрома и разграбления церквей. Поэтому официальных сведений о времени рождения дедушки Ефима не сохранилось. Но слова отца о возрасте моего деда во время их последней встречи, это не единственное свидетельство, по которому можно судить о том, в каком году родился дедушка Ефим. Это находило подтверждение в разговорах родственников, когда они бывали в гостях у родителей.

Дедушка Ефим родился в 1830 году. В начале своей жизни он был современником Пушкина и Лермонтова. Между рождением моего дедушки и моим появлением на свет пролегла невообразимая пропасть времени – годы рождения внука и деда разделены почти столетием.

Как же прожил свою долгую жизнь Ефим Мосягин?

Мой отец в своей автобиографии писал: «Отец работал плотником. Он был николаевский солдат и служил на военной службе двадцать пять лет». Могло ли быть так? Думаю, что нет. Это легенда, но имеющая серьезную и вполне реальную основу, вызывающую к себе уважение и интерес.

Срок рекрутской повинности для создания регулярной армии по Указу Петра Первого от 1705 года был пожизненным. Этот порядок сохранялся до 1793 года, когда Екатерина Вторая своей высочайшей милостью определила для солдатушек всего только (!) 25-летний срок службы. В 1834 году внук Екатерины Император Николай Первый «понижил» срок рекрутчины до 20 лет с последующим пребыванием в так называемом «бессрочном отпуске» в течение пяти лет. Бессрочный отпуск был актом проявления государственной гуманности по отношению к служивому люду: Рекрута отпускали после двадцатилетней службы домой из того соображения, чтобы он вернулся на родину в «летах непреклонных». Однако в течение этих пяти лет отпускника могли в любое время призвать в армию. Отсюда и пошло, видимо, прозвание «николаевские солдаты». После смерти Николая I в 1855 году, унаследовавший царский престол его старший сын Александр Второй поэтапно установил двенадцатилетний срок солдатской службы. В солдаты призывались мужчины в возрасте от 20 до 35 лет.

Дедушка Ефим мог начинать службу в то время, когда она была, действительно, двадцатипятилетней (20 лет плюс 5 лет «бессрочного отпуска»), а заканчивал ее уже после установления укороченного срока. В бытовом восприятии семьи могла держаться убежденность в очень долгой рекрутчине родителя. Сколько же лет служил в армии Ефим Мосягин, никто толком не знал. В любом случае это продолжалось довольно долго. Никак, пожалуй, не меньше 18 лет. Необходимо учитывать то обстоятельство, что командиры частей имели право задерживать солдата на службе по своему усмотрению на время «бессрочного отпуска».

По семейному преданию за время своей службы дедушке Ефиму довелось принять участие в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Наш отец об этом прямо не рассказывал, но с большим уважением всегда упоминал о замечательном русском генерале Скобелеве. Конечно, это шло от деда. В моем самом раннем детстве имя генерала Скобелева, в какой-то мере, бытовало в нашей семье. Позже отец перестал говорить и о военной службе дедушки Ефима, и о прославленном генерале. Памятник славному военачальнику генералу Скобелеву, стоявшему напротив резиденции генерал-губернатора Москвы (здание Моссовета), коммунисты убрали за ненадобностью.

Оно и понятно: генерал Скобелев воевал за батюшку-царя. А дедушка Ефим в его армии штурмовал Плевну. Значит, про это и не надо было говорить, чтоб не нажить греха. Об этом, видимо, отец не забывал.

После службы, лет пятидесяти от роду, дедушка женился и начал рабочую жизнь. Он был плотником и немало домов в Новозыбкове срублено его топором. Своего дома он так и не заимел, семья ютилась по чужим квартирам. Умер он, как уже было сказано в богадельне и похоронен за казенный счет на старообрядческом кладбище.

Как-то мы со старшим братом тайком обследовали матушкин комод и в одном из ящичков под бельем, на самом дне обнаружили красивый четырехлепестковый крест, похожий, как я теперь вспоминаю, на георгиевский. Ни планки, ни ленточки к нему не было. Мы спросили о нашей находке у отца. Он ответил уклончиво, а крест после этого бесследно исчез и мы его больше никогда не видели. Чей это был крест? Дедушки Ефима или нашего отца? Теперь этого уже никто не скажет.

Бабушку мою по отцу, жену дедушки Ефима, звали Анна Игнатьевна. О ней в автобиографии отца только и сказано: «Моя мать работала у богатых людей по найму». Вот и все сведения о ней.

В нашей семье не сохранилось ни одной фотографии и никаких иных материальных свидетельств о жизни дедушки Ефима и бабушки Анны. Оба они закончили свой земной путь задолго до моего рождения.

О родителях моей матери я также знаю немного. Поздний брак моего отца с матерью значительно отдалил во времени жизнь старшего и младшего поколений семьи. И даже в самом раннем детстве у меня не было счастья называть родных мне людей необыкновенно теплыми и добрыми словами: бабушка и дедушка. С самых ранних лет я помню старинный бревенчатый дом на нашей улице под кроной старого дуба, принадлежавший в старину отцу моей матери Федору Илларионовичу Панину, человеку строгой и праведной жизни, исповадавшему старообрядческую веру своих предков. Разумеется, к тем графам Паниным, русским государственным и военным деятелям, род моей матери не имел никакого касательства. Мама рассказывала, что ее дедушка Илларион занимался торговлей вразнос, был офеней или, по-иному, коробейником. Ходил с товаром и в Злынку, и в Клинцы, и в Стародуб, и даже в Новгород-Северский, торговал в окрестных деревнях и селах. К концу жизни у него скопился какой-то капиталец. Все, что он накопил, он передал своему сыну Федору.

– Дедушка Илларион, – рассказывала наша мама, – все завещал моему отцу. «Бери, Федя, владей всем. Торгуй честно, людей не обижай, не обманывай, Бога не гневи. Копейку береги, скупым не делайся, но копейкой дорожи».

Федор Илларионович был хорошим сыном. Копейку он, действительно, берег и приумножал ее. Дело у него пошло и через какое-то время он завел свою торговлю. У него было два небольших магазина. Чем торговали в этих магазинах, мать никогда не говорила, да мы, честно говоря, этим и не интересовались. Матушка не очень-то распространялась о своей прошлой жизни. Но, по всей видимости, отец ее был купцом. Торговцем назвать его нельзя, поскольку торговец – это, по большей части, лицо, торгующее по поручению владельца предприятия или хозяина товара, а Федор Илларионович имел свое дело. Я думаю, что он оплачивал купеческое свидетельство второй гильдии, стоимость которого была очень незначительной. Известно, что деление купечества на три гильдии в России было отменено в 1863 году, после чего остались только две гильдии: первая и вторая.

Дом на Шеломовской улице (теперь Гагарина), в котором родилась и выросла моя мать, строил, видимо, прадед Илларион. Все в этой постройке было добротно, соразмерно и красиво. Толстые, потемневшие от времени бревна плотно лежали на кирпичном цоколе. Резные карнизы украшали фронтон, деревянной резьбой были обрамлены окна и ставни. За чистыми стеклами цвели герани. К дому примыкала калитка с высоким порогом и приступками, а рядом были широкие ворота. Калитка и ворота были покрыты общей кровелькой. Все это было похоже на множество жилых построек Новозыбкова и отличалось от них разве только своей основательностью и солидностью.

За калиткой дедовского дома я был только один раз, будучи маленьким мальчиком, задолго до войны. Дедушки Федора Илларионовича и его жены, моей бабушки, давно уже не было на свете. В дедовском доме жила тогда его вторая жена, мачеха моей матери. Я запомнил высокие мостки от калитки до крылечка, крепкие сараи, высокий забор, но особенно меня удивило то, что поперек двора, отделяя его от сада, стоял еще один жилой дом. Мама сказала потом, что это флигель и в нем жил ее брат Никита.

Дядю Никиту я никогда не видел и ничего не знаю о нем, кроме того, что он был плохим помощником своему отцу, вроде, был он гулякой, и с ним случилось что-то нехорошее. Мама говорила, что был он добрым, не скандальным, отцу особо не перечил. Я помню пожелтевшую фотокарточку на стенке в передней комнате,

на которой был снят весь кудрявый с усиками, невысокий мужичок, ну, ни дать ни взять, точно такой, как те купеческие сынки или преуспевающие приказчики, которых играли раньше в пьесах Островского артисты Малого театра. Я говорю «раньше» потому, что теперешние режиссеры и артисты изображают совсем других людей, скорее, современных оборотов в современных «прикидах», но никак не персонажей Островского.

С первой женой Федор Илларионович прожил не больше 20 лет. Брак был счастливым, семья жила в мире и согласии. Воспитанная по старым канонам благочестия и благонравия, добрая и тихая женщина, глубоко верующая, первая жена моего дедушки почитала мужа, берегла и воспитывала детей, умело и рачительно вела хозяйство. В этом браке родилось четверо детей: сын Никита и дочери Вера, Федосия и Татьяна, будущая наша мама. О бабушке своей, умершей далеко не старой женщиной, я всегда думаю с грустью и нежностью. Мне кажется, я мог бы с достаточной достоверностью воссоздать ее образ, списывая его с моей матери...

После положенного срока для грусти, поминаний и траура Федор Илларионович привел в дом мачеху. От этого брака родилась дочь Ксения и сын Федор. Мачеха была мачехой. Мне думается, и для этого есть основания, что вторая жена моего деда не была ни хорошей супругой своему мужу, ни доброй матерью неродным детям, ни заботливой хозяйкой в доме. Я смутно помню громоздкую старуху, что жила в хорошем доме под красивым дубом. Она держалась подчеркнуто отчужденно от нашей семьи. Ни мама наша, ни мы, дети, ни тем более наш отец никогда не ходили к маминой мачехе. В гости она нас никогда не звала и сама у нас никогда не бывала. Мама ни плохого, ни хорошего о своей мачехе никогда не говорила и не вспоминала то время, которое после смерти отца прожила до своего замужества в одном доме с неродным человеком...

Во время одной из моих давних поездок в Новозыбков, как-то поздним вечером, я провожал свою старшую сводную сестру Таню на дежурство в городской парк, где она работала сторожихой. Не доходя до старого дедовского дома, Таня очень почтительно раскланялась с каким-то старым мужчиной, стоявшим у своей калитки. Когда мы прошли, Таня пояснила мне:

– Это последний человек, кто остался из маминого рода.

Я тогда не знал, что буду писать эту книгу, и теперь очень сожалею о том, что не пытался поговорить с тем не знакомым, но родственным мне человеком. Это

была упущенная возможность дополнить мои знания о прошлой жизни моих старших родственников.

Родители

Поздний вечер, за окнами зимняя тьма. В зале горит керосиновая лампа, в спальне и кухне темно. Я помню неуютность и временность этого вечера. Родители наши редко уходили из дому по вечерам, но случаи такие все же бывали. Когда мама дома, то все спокойно и надежно, это как данность, этого не замечаешь. Наступает ночь – ну и что! Мама дома, она зажигает лампы, темнота останавливается за окнами, а в чистом и натопленном нашем доме становится еще теплей и уютней. Мама не любила оставлять нас одних дома; круг ее жизни был очерчен семьей, домом, хозяйством. Мы, дети, тоже так были приучены, что мама всегда бывала с нами. Поэтому и задерживались в памяти редкие вечера, когда мы оставались дома одни.

Вот и в этот запомнившийся вечер родители наши куда-то ушли, то ли в кино, то ли в театр, а может в гости, и сидеть с нами до их прихода попросили деда. Дед строгий, неласковый, держится отчужденно, сидит на стуле около теплой грубки[1 - Грубка – это «голландка» (печь): в одной комнате топка и лежанка в другой; от пола до потолка стенка, в которой проложены колена дымовой трубы. – Прим. автора.], на нем валенки и пальто, темное долгополое. Как пришел он в этом пальто, так и не снял его, так и сидит в нем. Я помню этот вечер, словно я смотрел на все откуда-то снизу, с уровня дедовских валенок. Вижу и сейчас эти подшитые рыжеватые старые валенки. Они неподвижно стоят рядом с ножками стула, немного впереди ножек, и на чистом полу вокруг валенок понемногу высыхает темный след растаявшего снега. По бокам свисают до самого низа полы заношенного пальто.

Помню, что, несмотря на эту отчужденность и неприятие чужого, в сущности, человека, мне все же хотелось как-то довериться деду. Хотелось, чтобы он похорошему отнесся ко мне, погладил бы по голове что ли или привлек к себе, к своему ветхому пальто и к этим растоптанным валенкам. Но дед безучастен. Лица и рук его не помню в этот вечер. Чувствовал только в неразговорчивости деда жесткость и его несогласие с той обязанностью, которую ему навязали. Кроме меня, чем-то забавлявшегося на полу, в комнате были Леня и Федя. Леня

тоже еще был мал, раз на него нельзя было оставить младших детей и дом. Леня и Федя просят деда рассказать сказку, и дед, малость подумав, рассказывает:

– Ночью в сарае закукарекал петух. «Ку-ка-реку! Будем ре-е-зать!» «Кого, кого?», – загагакал гусь. «Ме-е, ме-ня», – жалобно заблеяла овечка.

Мне очень жалко бедную овечку, мне не нравится наглый горластый петух, не нравятся мне расставленные около стула противные дедовские валенки и мне хочется, чтобы скорее пришли родители и чтобы дед ушел к себе домой.

Кто же такой этот неласковый дед с его нехорошей сказкой?

Разумеется, это не дедушка Ефим и не Федор Илларионович. Я держу в руках старую, наклеенную на потемневший картон большую семейную фотографию. Этой фотографии сто лет. В кресле справа сидит старая женщина в темной и просторной одежде с лицом строгим и властным, но подобревшим и снисходительно смягченным, по такому редкому случаю, как фотографирование на семейную карточку. Волосы женщины гладко зачесаны, в ушах серьги. Еле заметная усмешка, обозначившаяся в складках рта, придает лицу женщины выражение некоторой живости. Это не улыбка – это просто женская учтивость в ответ на галантное обхождение уездного мастера-фотографа. За спиной этой женщины, несколько справа от нее, положив руку на столик, какие всегда имелись в салонах старых фотографов к услугам клиентов для удобства и непринужденности позирования, стоит невысокий, сухощавый, в бороде и усах лысеющий пожилой мужчина с маленькими, глубоко посаженными глазами. Слева на переднем плане сидит на стуле с подлокотниками средних лет мужчина с приятным бородатым лицом, выражающим ум и достоинство. Он в темном костюме и в хромовых начищенных сапогах с высокими до колен голенищами. Позади него стоит высокий прямой гражданин в строгом костюме с роскошной бородой и густыми разлетающимися усами, с лицом открытым и привлекательным. Он неподвижен, но и в выражении лица и посадке головы, и в развороте плеч как будто чувствуется готовность к движению и действию. На него очень похож сидящий мужчина, может быть это отец и сын.

В центре этой группы стоит молодая невысокая женщина. У нее простая прическа, хотя и гладкая, но не устраняющая природную пушистость ее волос. Строгость округленного лица женщины подчеркивает стоячий воротничок ее закрытого платья. Это очень красивое платье из тонкого материала с пышными рукавами и светлой отделкой на груди, затянутое на талии широким поясом. Оно

очень идет позирующей женщине. Две маленьких девочки украшают эту, строгую, в традициях семейного фотографирования, поставленную группу. Старые мастера-фотографы очень хорошо умели это делать; семейные фотографии прошлых лет всегда смотрелись достойно и значительно.

Одна из девочек, та, которая стоит, доверчиво положив руку на колено сидящего мужчины, это Таня, моя сводная сестра. Вторая девочка сидит на высокой подставке, и ее поддерживает бабушка. Это младшая сестра Тани, Маша, она умерла в младенчестве. Женщина в красивом платье – моя мать. Старая женщина, сидящая в кресле – мамина свекровь. Ничего о ней не знаю, кроме того, что ее звали Лукинична; имя ее мне не известно, только отчество. Стоящий за этой Лукиничной щуплый человек и есть тот самый дед в валенках, что сидел с нами зимним вечером в отсутствии родителей. Это мамин свёкор Василий Николаевич Кудрявцев, кустарь, владелец небольшой прядильни.

Девятнадцати лет маму выдали замуж за его единственного сына Ефима. Каким он был, этот сын зажиточного кустаря, чем занимался, как жил с женой, каким был сыном и помощником своим родителям, – трудно сказать что-нибудь определенное. Мама о нем никогда не рассказывала, наверно, потому, что это могло быть неприятно нашему отцу... Точно известно одно: то, что, прожив лет пять с молодой женой, Ефим уехал в Америку. Зачем? Какая неволя погнала его за океан? Бывали случаи, что из наших мест некоторые люди уезжали в Америку на заработки, но мамин муж жил безбедно.

По отрывочным разговорам наших родственников о первом мамином замужестве складывалось такое мнение, что Ефим Васильевич на прядильне работал мало, семьей почти не интересовался, был слушок, что он играл в карты и на бильярде. Потом он связался с какими-то лодырями, завел дружбу с евреями, ходил на какие-то собрания. Один раз он был избит ингушами (в Новозыбкове одно время стояла воинская команда ингушей, помогавшая городской полиции в роли жандармов). В 1908 году мамин муж попал в тюрьму. Отец под большой залог взял его на поруки до суда. Ефим Васильевич суда ждать не стал, а махнул за океан. Как он простился с молодой женой, наказывал ли хранить ему верность, обещал ли вернуться – об этом в нашей семье никогда не говорили.

Фотография, о которой идет речь, сделана была уже после отъезда Ефима, потому на семейной карточке молодая наша мама без мужа, а только с детьми и родственниками. Она вместе со всеми на фотографии, но кажется, что держится она особняком, вроде бы вместе, но все же и не совсем вместе. Видимо, этому

была причина. Свекровь и свёкор, конечно, могли таить на нее обиду. Не сумела молодая жена привязать мужа к семье, к дому, к детям. Не удержала – значит, не любила, плохо угождала мужу, раз дело дошло до того, что он бросил и ее, и детей, и родителей и скрылся Бог весть куда. Скрылся и ни разу от него не было ни одной весточки, ни одного письма, ни слуху ни духу. Мама наша терялась в предположениях, не знала, что думать о сгинувшем муже. Даже в поминание не могла его записать, потому что не знала, как молиться за него – за здоровье или за упокой.

Я думаю, что причиной тому, что первый мамин муж Ефим Васильевич Кудрявцев уехал из дому, послужило отнюдь не участие его в социал-демократических делах (был и такой разговор о нем), а просто обрыдло добру молодцу домостроевское житье в отцовском доме, осточертела ему прядильня и потянуло его на вольную жизнь и легкие деньги.

Скорее всего, оно так и было.

Мама ждала его долго, лет восемь или девять, прежде чем вышла замуж за нашего отца. Все это время она жила у свёкра, год от года становясь все более чужим человеком в его доме. Мама нанималась на службу к богатым людям, вроде бы у кого-то служила экономкой. Свёкор со свекровью не заменили ей родителей, к тому времени давно уже умерших. Лукиничну мама никогда не вспоминала, и я никогда эту женщину не видел, она умерла задолго до моего рождения... А вот деда Василия Николаевича я хорошо помню.

Отец в своей автобиографии пишет: «Я с десяти лет начал ходить на работу к кустарю, крутил колесо на прядильне. Работал по несколько часов за десять копеек» (за 10 копеек в то время можно было купить две буханки хлеба).

Этим кустарем и был Василий Николаевич. По-уличному он прозывался Голованок. На своей прядильне в одно колесо он прят веревки.

Веревка в натуральном хозяйстве вещь необходимая: без веревки не достанешь воды из колодца, без веревки не увяжешь воз соломы или сена, лошадь не запряжешь, белье не просушишь, собаку не привяжешь, даже лапти не обуешь без веревки. Да мало ли, для каких дел нужна веревка. Поэтому продукция дедовской прядильни никогда не залеживалась и раскупалась хорошо. Я помню, как в базарные дни крестьянские подводы собирались у дедовских ворот – это

заказчики приезжали за готовым товаром. К тому времени, которое могла удержать моя память, дед уже был стар и немощен, но дело свое окончательно не бросал. Дед время от времени пряд веревки и имел от них какую-то выручку. В старое же время прядильня его работала бойко, дед был хорошим мастером и своим ремеслом достойно содержал свою семью.

Снятые на старинную фотографию вместе с Василием Николаевичем двое мужчин, конечно, родственники и, по-видимому, мастеровые люди одного цеха. Они прядильщики. Это ремесло в старом Новозыбкове было весьма распространенным и прибыльным. Даже улица, пересекающая нашу Шеломовскую, называлась Канатной. На ней корпоративно селились прядильщики. На старой фотографии я вижу достойных и степенных мужчин, знающих себе цену и твердо осознающих свое место в жизни. Все спокойны, несуетливы и, хотя они замерли перед фотоаппаратом, в них нет скованности и напряжения.

Каким чудом сохранилась эта фотография, это удивительное окошечко в мир прошлого? На фотобумаге увековечены люди XIX века. Не бунтари, не ниспровергатели, не искатели легких путей в жизни, не нахлебники, а люди-труженики. Великий пролетарский писатель Максим Горький в порыве благородного революционного романтизма, как-то нехорошо и свысока, обозвал их глупыми пингвинами, гагарами и мещанами, стремящимися только к покою и сытому самодовольству.

Да ничего подобного! Это обычные трудящиеся люди, умеющие заработать на жизнь и никому не кланяющиеся в своей законопослушности. Трудом таких людей построен наш город, на них держалась вся Россия. Они любили порядок, берегли свои семьи, молились Богу и служили Отечеству. Они были естественны в своей простой и серьезной связи с обстоятельствами и требованиями жизни. Они просто жили на свете и работали, чтобы жить. И никакая революция им была не нужна!

Я думаю, как дико и бесчеловечно выглядела такая, к примеру, ситуация, при которой, допустим, вот этот сидящий мужчина со старой фотографии мог бы быть втянут в такое противоестественное действо, как социалистическое соревнование, или борьба за звание ударника коммунистического труда. Невероятно, чтобы этот строгий человек вместо нормальной полезной работы начал бы заниматься пустословием о каких-то соревновательных обязательствах, стал бы суетиться по поводу подведения итогов этого насквозь

лживого, бесполезного и, в общем-то, постыдного занятия, при котором отчеты о «выполнении и перевыполнении» в наше время значительно важнее практических результатов настоящего труда. Эти люди не нуждались в безнравственном посредничестве между их совестью и отношением к своему делу.

В нашей семье никогда не было разговоров о том, как вел свое дело и каким человеком был Василий Николаевич, но я также ни разу не слышал ничего такого, что могло опорочить его работу и его жизнь. Он был обычным новозыбковским мещанином, ремесленником, тружеником, достойным горожанином и верным своей церкви христианином.

Отец в автобиографии пишет, что он крутил колесо на прядильне кустаря Кудрявцева. «Крутить колесо» означало приводить в движение весь механизм прядильного производства. Таким способом мой отец в мальчишеском возрасте выполнял функции источника механической энергии на кустарном предприятии.

Особых усилий это занятие не требовало, поэтому на эту работу брали подростков. Главное в этом деле было соблюдение равномерности. Сменяя друг друга, ребята крутили большое легкое деревянное колесо, от которого через ременную передачу приводилось в действие все прядильное приспособление. Это замечательное ажурное дедовское колесо я видел и даже крутил его. Оно запомнилось мне, но об этом позже.

«У кустаря я работал до 1904 года, а с этого времени поступил на спичечную фабрику фабриканта Волкова. Работая на фабрике, ходил учиться в воскресную школу, где окончил три класса», – сообщает отец в автобиографии.

Когда же и где встретились наш будущий отец с нашей будущей мамой?

В родительском доме под старым дубом Таня Панина прожила до своего замужества. Ее старшие сестры Вера и Федосья повыходили замуж и покинули отцовский дом. Умер отец и молоденькая девушка осталась жить с мачехой и двумя младшими сводными сестрой и братом. Мачеха облегченно вздохнула, когда последняя ее падчерица освободила ее от своего нежелательного присутствия. Замужество Тани Паниной и переезд ее к мужу в дом Василия Николаевича произошел в 1905 году. До этой поры говорить о знакомстве моих родителей не приходится. Действительно, чем и как мог заинтересовать

барышню из торговой семьи рабочий паренек, да еще на целых пять лет моложе ее? По-видимому, встретиться они могли через порядочное время и не где-нибудь, а на усадьбе маминого свёкра. Скорее всего, это случилось, когда у нашей матери распалась ее первая семейная жизнь.

Работая на спичечной фабрике, отец регулярно ходил подрабатывать на прядильню деда Голованка, – никакая копейка не была лишней входящему в возраст молодому парню. Он уже не только колесо крутил, но и пеньку чесал и веревки пряд. Василий Николаевич ценил его как мастера.

Вот здесь-то и началась пьеса в духе Островского. Девствующими лицами в ней оказались Василий Николаевич, хозяин и домовладелец, жена хозяйского сына и работник... Молодая невестка жила в доме свёкра на положении не то вдовы, не то брошенной жены... Не встретиться молодые люди не могли – ходили в одну калитку, по одним стежкам по одному двору и саду. Веселый и настойчивый, наш будущий отец начал оказывать знаки внимания нашей будущей матери: то поможет воды набрать из колодца, то предложит на скамеечке в саду посидеть, то лимон к чаю преподнесет, а то и в городской сад пригласит пройтись вечером.

В городской сад мама, конечно, не ходила и в саду на лавочке не сидела, а от лимона не отказывалась. Об этом иногда шутливо упоминалось в нашей семье, когда вспоминали ухаживания отца и долгую мамину сдержанность. Что же касается Василия Николаевича, то он против своей воли стал свидетелем и, в какой-то мере, участником истории знакомства наших будущих родителей. Мог ли он подумать, что поденный работник, паренек из бедной семьи будет когда-то претендовать на внимание и благосклонность его невестки. И пусть он никогда не считал жену своего сгинувшего сына особенно близким человеком, но все же... ему хотелось бы пристроить ее как-нибудь повыгодней, поосновательней. Но все в жизни обернулось совсем по-другому.

В автобиографии отец сообщает: «В 1913 году меня призвали в армию. Я служил рядовым во второй телеграфной роте второго саперного батальона. С 1914 года участвовал в Мировой войне, был ранен в ногу, Революция застала меня в Румынии. В 1917 году по ранению я возвратился домой и стал работать на той же спичечной фабрике. В 1917 году я женился на Татьяне Федоровне Паниной».

С того далекого времени сохранилось несколько фотографий. Вот одна из них: на траве под деревом позирует добрый молодец, повернувшись лицом и грудью

к фотоаппарату. Солдатская форма сидит на нем ладно, бескозырка подчеркивает свежесть мужественного молодого лица. На обратной стороне полустертая, но все же прочитываемая надпись: «На добрую память Тане Паниной. 1913 год, Могилев». Отцу на этой фотографии 22 года и он только начинает свою службу в армии. Есть еще одна карточка, на которой снята наша мама. Надпись на ней говорит о том, что будущая наша мама посылает ее «незабываемому» нашему будущему отцу. Судя по всему этому, наши родители уже до призыва отца на службу были очень хорошо знакомы и даже дружны.

Немного странно и не совсем понятно, почему мама после нескольких лет замужества за Ефимом Кудрявцевым носила свою отцовскую фамилию? Живя в доме свёкра на положении невестки, покинутой мужем, молодая женщина, воспитанная в религиозной обстановке высоконравственного уклада отцовской семьи, понимала всю двойственность своего положения. Как она могла открыться родителям мужа о своей нарождающейся заинтересованности в отношениях с понравившимся ей молодым человеком, да еще приходящим работником свёкра? На что ей следовало решиться? Продолжать жизнь замужней женщины, храня верность человеку, от которого уже много лет не было никаких вестей, или считать себя свободной женщиной и всей душой откликнуться на привязанность другого мужчины? Не без колебаний и душевных потерь наша мама выбрала второе. Особенно это определилось к началу военной службы будущего нашего отца. Татьяна Панина, как и несколько лет до этого, продолжала жить в ожидании своего мужчины. Но ожидала она теперь будущего своего мужа Потапа Ефимовича Мосягина, ожидала его сначала с военной службы, а потом и с войны. Пройдут долгих пять лет, прежде, чем мои родители соединятся для совместной жизни. Это были трудные для них обоих годы. Таня Панина получала редкие письма от будущего нашего отца из действующей армии, жила надеждой на встречу с ним и Господь вознаградил ее – отец наш вернулся с войны. И они поженились.

Я думаю, что девять лет маминого ожидания покинувшего ее мужа, это вполне достаточный срок для того, чтобы и люди, и церковь посчитали возможным для нее второе замужество. Ведь брак с первым мужем остался не расторгнутым. С нашим отцом мама не венчалась.

А что же Василий Николаевич, мамин свёкор, как он отнесся к новому замужеству своей невестки? Наверное, с пониманием. Не в монастырь же ее направлять? К тому же новая власть уже громила монастыри и разгоняла их насельников. Мама уехала из дома свёкра и вместе с нашим отцом они сняли

квартиру неподалеку на нашей улице. Таня временно осталась у деда.

Так начиналась наша семья.

У Василия Николаевича было два дома: один старый с тремя окнами на улицу, в котором он жил сам и моя мать со своей первой семьей, второй дом стоял рядом и был совсем новый, поменьше старого, но постройней, с высокой кровлей и двумя окошками на улицу. В этом доме квартировали какие-то евреи. Старый и старинный дом Василия Николаевича, очень серьезный и грузный, был, пожалуй, одним из самых древних на нашей улице. Все в этом доме говорило о почтенном возрасте: темные толстые, потрескавшиеся бревна сруба, темные доски ворот и калитки, простые тяжелые ставни на окнах и строгий, без излишеств и украшений, фронто́н с чердачным окном. Дом состоял из двух больших комнат, разделенных просторными сенями. Одна комната была обращена на улицу, другая в сторону двора. В обеих комнатах были огромные русские печи, полы были настелены широченными досками, под низкими потолками обеих комнат в передних углах располагалось множество старинных темных икон старообрядческого письма. Несмотря на достаточное количество окон в комнатах старого дома было постоянно сумрачно.

Новый дом был веселее и как будто просторней старого, хотя и был значительно меньше. Сама судьба, казалось, предназначала этот небольшой домик для новой маминой семьи, Так оно впоследствии и получилось, но до этого произошли события, едва не закончившиеся трагически для отца с матерью и имевшие некоторое влияние даже на мою судьбу, тогда еще не родившегося и не предполагавшегося для рождения.

Трудно начиналась семейная жизнь моих родителей. В стране была разруха, неустроенность и беззаконие. Отец, чтобы как-то поправить материальные дела семьи, предпринимает отчаянную попытку заработать денег, попытку авантюристическую и безрассудную. Он вместе с мамой, Таней и маленьким Леной уезжает куда-то на юг Украины – точно не знаю куда – с целью поставить там прядильню на одно колесо и заработать средства для жизни изготовлением веревок.

Это было время, когда только что закончилась гражданская война. Россия десять лет погибала в революциях и войнах. Жить было трудно, а далекие переезды были не только трудными, но и опасными. Кто соблазнил отца на такой рискованный поступок? По какому адресу он ехал, какой информацией

пользовался? Дома об этом говорили мало, поездка отца на Украину долгое время была мне известна только в общих чертах. Значительно позже обо всем этом мне рассказал сам отец. В деревне, где они с мамой определились на место, сначала у них все складывалось хорошо. Они сняли у одного хозяина пустую избу, отец подремонтировал ветхий сарай, купил у вдовы старого прядильщика передаточное колесо, привел его в порядок, наладил устройство для изготовления веревок и начал работать. Кстати, это отремонтированное отцом деревянное колесо через четверть века превратится в воображении службистов КГБ в прядильный завод, которым, якобы, владел мой отец на Украине, и станет одним из главных обвинений меня в моих антисоветских действиях. Так повернут этот факт биографии моих родителей бдительные офицеры КГБ, с подачи своего верного стукача, замполита батальона, подлого майора Шипулина, собиравшего на меня антисоветский компромат. Но это будет еще не скоро.

Первое время дело отца на новом месте пошло успешно, заказов было много. Мама крутила колесо, отец пряд веревки. К осени дело стало ухудшаться. По причине неурожая и оскудения за работу платить стали меньше, заказы поступали все реже, стало трудно доставать пеньку. К зиме отец понял, что надежды на хорошие заработки не оправдались. Но продуктов на зиму отец с матерью заготовили: мука, крупа, сало, картошка и другие овощи были в достатке.

А в округе начинался голод.

Однажды вечером, когда дети уже спали и мать с отцом собирались ложиться, кто-то неожиданно и требовательно постучал в переплет окна, выходившего во двор. Мама испуганно посмотрела на отца. Вечер был поздний и никого не ждали. Отец насторожился, стук повторился и был еще более громким и настойчивым.

– Не пугайся, – сказал отец маме и пошел в сени. – Кто там стучит? – резко и громко спросил он.

– Открывай, москаль! – потребовали со двора.

– Кому открывать? Я вас не знаю. Кто вы такие?

– В гости к тебе пришли. Аль ты не ждал гостей?

– Не ждал, – ответил отец. – Завтра приходите. Днем.

– Ты вот что, москаль, открывай дверь, а не то вышибем! – угроза этих слов не оставляла сомнений в их исполнении.

– Ладно, – сказал отец. – Сейчас открою.

Он взял в сенях вилы и поставил их в кухне так, чтобы можно было их сразу схватить, если понадобится.

– Ну, чего ты там возишься? – крикнули со двора.

Отец тихонько снял крюк с двери, шагнул в кухонную дверь и крикнул:

– Заходите!

А сам стал так, чтобы видеть входную дверь и чтобы вилы были у него под рукой. На кухню ввалилось двое мужиков.

– Ну что, москаль, будешь гостей принимать? – спросил один из них, не снимая шапки.

– Садитесь, садитесь к столу, – засуетилась мама, – садитесь. Картошка есть тушеная, и сала сейчас нарежу.

Мама быстро собрала на стол. Отец подвинул к себе табурет и сел так, чтобы вилы были у него с правой руки. Лампа горела на столе, а где сидел отец, была тень.

– Как работаешь? – спросил один мужик.

– Только семью прокормить хватает, – ответил отец.

– Зря, значит приехал.

– Выходит зря.

– Ешьте, ешьте, – угощала мама незваных гостей. – Вот выпить у нас ничего нету.

– Чего ж так?

– Не держим. Пить у нас некому.

Отец размышлял, с какой целью к нему появились незнакомые люди. Грабить в доме, кроме продуктов, было нечего. Но было не ясно, чего от них следовало ожидать.

– Детишки у вас есть? – спросил тот из гостей, что был постарше.

– Двое, – ответила мама, – спят в той комнате.

– Ну, пускай спят, – миролюбиво заметил гость и его товарищ согласно кивнул головой.

Они поели и, вставая из-за стола, старший сказал:

– Спасибо вам за хлеб-соль, – и добавил, обращаясь к отцу. – Хороший ты мужик, москаль. И хозяйка у тебя хорошая.

Накормили вот, приветили. Так что, бывай здоров, москаль. Извиняйте, если что не так. Надев шапки, они ушли.

– Господи, Царица небесная, Заступница, спаси и помилуй, – шептала мама, вглядываясь в темное окно.

– В тот вечер мы окончательно решили уезжать обратно домой, – рассказывал отец. – Надо было только дожить до тепла. А мужики эти больше не приходили. И не за хлеб-соль мою они ушли по-хорошему, а потому, что вилы у меня под рукой стояли.

Весной отец с матерью двинулись обратно в Новозыбков. Ехали сначала на лошадях потом на поезде. Бедствовали в пути страшно. Таня рассказывала, что ей приходилось даже милостыню просить. В дороге отец сильно болел. Кое-как, измученные, но живые добрались отец с матерью и двумя детьми до Новозыбкова.

Вскоре они поселились во втором доме Василия Николаевича. Это могло произойти только благодаря доверительности и участливому отношению бывшего маминого свёкра к новой семье его бывшей невестки. Сохранялось же в душе старого человека сочувствие к не родным, хотя и не совсем чужим людям. Поступок деда, надо отдать ему должное, имел неоценимое значение для жизнеустройства нашей семьи. Дело в том, что купчая на приобретение моим отцом второго дедовского дома и четырех соток земли, выделенных от дедовской усадьбы, была оформлена только в 1928 году. Владелец же этой крошечной усадьбы на правах собственности отец стал на шесть лет раньше – в 1922 году. Не было у нашего отца в тот страшный год средств, чтобы полностью оплатить свое приобретение. Дед поверил отцу и сказал: «Живите».

Николай Васильевич в это время жил одиноко, Лукинична умерла, от сына по-прежнему не было никаких вестей, невестка завела другую семью. Таня подрастала и как единственная кровная внучка и наследница стала жить в доме деда. Это было правильно, да и уходить от матери ей никуда не надо было – жили соседями и в заборе, разделявшем впоследствии дворы, была устроена калитка. Дед, как уже говорилось, был хорошим хозяином. Двор его был застроен крепкими рублеными сараями, один из которых был приспособлен для хранения всякого ремесленного инвентаря и пеньки, для обработки которой была устроена специальная чесалка. В большом саду росло много немолодых, но хорошо плодоносящих деревьев. В начале сада были отведены дорожки для прядильщиков, начинавшиеся от задней стенки большого сарая и заканчивавшиеся у бани, стоявшей под старой грушей. Дедовский сал в раннем детстве был вожделенным местом для нас с Федей. Но дед нас не любил и в сад не пускал. Да и кто мы ему были? Невестка нарожала чужих детей и не мог он считать нас своими внуками. Я отрывочно помню сердитого мелкого старичка, одетого во что-то темное. Сейчас мне очень жалко его: в старости он был совершенно заброшен и одинок. С моими родителями он не хотел общения и не искал родственных отношений с ними.

Помню, был случай, когда мы с Федей по какой-то причине оказались в дедовском дворе. Это было, когда Таня вышла замуж и жила своей семьей. По

требованию Таниного мужа внутренняя калитка была забита, и мы ходили друг к другу, когда это было надо, через улицу. Дед дал нам с Федей яблок и мы, придерживая яблоки у живота, чтоб не рассыпались, пошли на улицу. Дед провожал нас, а может, выпроваживал. Как воспитанные дети мы сказали деду «спасибо».

– Наплевать мне на ваше спасибо, – ответил дед.

Мы не поняли, почему он так нехорошо отреагировал на нашу благодарность, и рассказали про это маме. Она усмехнулась и объяснила нам:

– Надо было сказать не «спасибо», а «спаси, Христос»[2 - «Спасибо» – «спаси Бог», это выражение благодарности, принятое после Никоновской реформы Церкви; «спаси Христос», старообрядческая форма благодарности. Дед был истинным старообрядцем. – Прим. автора].

Забегая вперед, скажу, что умер Василий Николаевич в 1932 году от голода и старческой немощи.

А мы с Федей потом играли красивыми сотенными царскими деньгами с портретами Петра Первого и Екатерины Второй. Деньги эти нашлись в дедовских захоронках. Для чего он собирал и копил их? Для кого он намеревался их оставить? Единственный сын бесследно пропал. Невестку не посчитал родным человеком. Пусть революция свела ценность его накоплений к нулю, но ведь задолго до революции он уже был совершенно одиноким человеком. Неужели он не понимал, что все его накопления могут пойти прахом?

На большой, по городским меркам, усадьбе Василий Николаевич имел отлично устроенное хозяйство с ремесленным цехом, садом, огородом, имел два дома и все необходимое для обеспеченной жизни. И, как всякий обстоятельный человек, собирал деньги. Для кого и для чего он собирал деньги? А если б не собирал, то на что бы он их тратил? Нет ответа на эти вопросы.

Наш бесстрашный отец на откупленном – в долг – у Василия Николаевича крошечном пространстве земли начал создавать семью и строить свое хозяйство. Я помню, он кому-то рассказывал:

– Сначала в маленьком доме жили, а потом, когда начал разводить семейство, пристроил кухню.

Так и сказал: «разводить семейство».

Кухню отец пристроил большую, с двумя окнами во двор, построил небольшой коридор, чулан с замечательной лестницей на чердак. Коридор был похож на маленькую веранду с большим окном. Отец построил сарай, выкопал погреб, над погребом построил еще один небольшой уютный сарайчик. У нас он назывался «погребка». В ней жили куры, а иногда кролики. Двор отец обнес хорошим забором. Кроме того, он построил новые ворота и калитку. Желтые строганные доски, плотно пригнанные одна к другой, тёсанные мощные столбы ворот, замечательная калитка с высоким порогом, – все это было и соразмерно, и надежно. Ни у кого из соседей не было таких красивых ворот и калитки, а уж дедовские темные ворота казались совсем старыми и дряхлыми.

Я думаю, что время от 1923-го до 1931-го годов было лучшим, благополучнейшим временем жизни нашей семьи. Отец был молод, работа на спичечной фабрике его не изнуряла, и у него оставалось достаточно времени и сил на благоустройство своего хозяйства.

Вот как об этом сказано в отцовской автобиографии: «В 1918 году, когда немцы пришли в Новозыбков, я на фабрике не работал, а когда их прогнали, вернулся работать на свое место. В Красной Армии я не служил, так как меня признали непригодным по статье 24-й. На фабрике меня выбрали членом фабкома, хотя я был простым ящичником. Был премирован за выполнение первого экспорта спичек в Турцию двухмесячным жалованьем».

Где-то между строк этого фрагмента из автобиографии отца могло бы быть упоминание о злополучной поездке на заработки на Украину. Но отец об этом не упоминает и это совершенно понятно. Как-никак, это было поползновение, хоть и на кустарном уровне, но все-таки на частную инициативу. Во время НЭПа частничество не преследовалось, разрешалась торговля. Тем не менее нэпманы считались чуждыми элементами и относились к людям с запятнанными биографиями. В самом начале семейной жизни мои родители испытывали достаточно убедительные материальные затруднения. Отцовской зарплаты на многое не хватало, и мама старалась как-то помочь отцу. Она неплохо шила и зингеровская швейная машинка служила ей верой и правдой. Это была память ее покойной матушки. Мама не только обшивала семью, но и по-соседски кое-

кому шила простые вещи: кофточки, юбки, платья, рубашки, детские вещички. Это приносило небольшое дополнение к отцовской зарплате. Но беда была в том, что не из чего было шить. Никаких тканей в продаже не появлялось уже несколько лет. Да и откуда им было взяться? В стране разруха, а НЭП еще только начинался. И вот тогда наш отец решился на небольшую коммерцию: прослышав, что в Новозыбкове на рынке сахар стоит намного дешевле, чем в Москве, он счел возможным подзаработать на этой разнице цен. Отец уломал маму согласиться с его затеей, соблазнив ее тем, что в Москве на вырученные деньги она сможет купить какой-нибудь материи, сатина там или ситца. Это определило участие мамы в этой поездке, ведь только она могла решить, какой товар надо будет приобрести. Вдвоем они направились в Москву. Приехали на Киевский вокзал. Народу – прорва, все куда-то спешат, знакомых – никого. Пока отец осматривался, к нему подошли двое мужчин.

– Привез чего, хозяин? – спросил один из них.

– А вам что? – в свою очередь, спросил отец, и в голосе его было достаточно агрессивности и настороженности.

– Да ты не шуми, – дружелюбно успокоил отца незнакомец. – Если что продать привез, говори. Может, столкнемся.

После некоторого сомнения отец сказал, что привез сахар. Сторговались. Покупатели предложили отцу поехать к ним на квартиру и там оформить покупку. Поехали на трамвае. Прошли каким-то грязным двором, застроенным косыми сараями и бараками. Провожатые постучались в обшарпанную дверь двухэтажного деревянного дома и мои будущие родители вошли в темный коридор, через который попали в небольшую в два окошка комнату. Взвесили на безмене сахар и один мужчина унес его в другую комнату, сказав, что сейчас вынесет деньги. Другой покупатель недолго посидел с родителями, поговорили о том, о сем, потом он озабоченно проговорил:

– Что это он там долго возится, деньги не несет. Пойду, потороплю его.

И тоже вышел в другую комнату. Отец с матерью ждали довольно долго. Чего только не передумали. Потом в комнату вошла немолодая тетка с веником, начала подметать пол и удивленно обратилась к родителям:

– А вы чего это здесь сидите?

– Да как же! – возмутился отец. – Двое мужиков у нас купили сахар, сказали, что деньги сейчас вынесут.

– Ничего не знаю! – повысила голос тетка, – Никакого сахара не знаю и знать не хочу. И никаких мужиков тут нету. Уходите отсюда!

– погоди ты орать, – попробовал урезонить тетку отец. – Пойди позови тех, что сахар унесли.

– Никуда я не пойду! – отрезала тетка. – А если вы сейчас же не уйдете отсюда, милицию вызову. Спекулянты проклятые! Ходят тут!

– Ага! Так у вас тут целая шайка! – отец вскочил со стула, схватил табуретку и так ее грохнул об пол, что она вся разлетелась в щепки.

Тетка взвизгнула, мать в ужасе вцепилась в отца, а он поднял ножку сломанной табуретки, ударил ей по столу и гаркнул:

– Сейчас же зови мне этих жуликов или я всё здесь разнесу!

Мужики вышли сами.

– Ну, чего ты развоевался? – примирительно обратился к отцу один из них. – Сказали ж тебе, что сейчас вынесем деньги.

– А она что мне говорит? – возмутился отец. – Уходите, говорит. Как это, уходите!

– Она всё перепутала, – махнул рукой мужик. – Получай свои деньги и будь здоров.

Отец пересчитал деньги, потребовал, чтобы отдали мешок, и они с матерью благополучно выбрались на улицу.

Для нашего отца такие случаи были единичными, в основном же он во всем любил порядок. Отец уважительно относился к своей работе на фабрике, дорожил ей и достойно держался в своем звании и положении простого рабочего человека. Ни торговлей, ни частничеством он не занимался. Они вместе с мамой настойчиво и разумно, я бы сказал, благословенно и в традициях исконной русской порядочности строили свою семью.

Когда я думаю о жизни отца, я отдаю себе отчет в том, каким он был оптимистом, и самоотверженным человеком. Что он имел к тому времени, когда женился на нашей маме? В прошлом было бедное детство, потом война, закончившаяся для него инвалидностью, три класса воскресной школы, да специальность плотника. Ни собственного дома, ни денег, – ничего этого у него не было. Но имел он уверенность в своих силах, точно знал, что ему надо в этой жизни, и не устрасился никаких затруднений и сложностей. Мама родила ему четырех детей. Вполне понятно, что отец не мог в то время увязывать свои намерения о «разведении семейства» с грядущими планами руководства страны, ориентированными на полное обнищание народа, на жестокость дисциплинарной регламентации жизни общества и на государственный террор.

Время все расставило по своим местам.

Если б только знал отец, как глумилось над ним правительство его страны, как решали его судьбу и жизнь вожди победившей революции! Еще в 1920 году девятый съезд ВКП(б) принял военно-бюрократическую программу Троцкого, по которой страна должна была превратиться в нечто похожее на сплошной концентрационный лагерь. Рабочие и крестьяне по этой программе становились солдатами труда, мобилизованными для выполнения приказов руководства. Приговоренные к трудовой повинности, они не имели права располагать собой, самовольное оставление рабочего места считалось дезертирством, наказуемым, по требованию Дзержинского, без суда штрафной ротой или концлагерем. За невыполнение рабочего задания, за опоздание на работу, за нерадивость виноватые отдавались под суд и для них понижался и без того очень мизерный продуктовый паек.

Это было похуже аракчеевских военных поселений начала девятнадцатого века. Я не могу сказать, насколько была реализована эта программа, но сумрачны и темны стали перспективы человеческой жизни в революционной России. Через год, когда экономическая политика «военного коммунизма» обнажила всю свою несостоятельность, по решению десятого съезда партии с мая 1921 года в

стране начала осуществляться новая экономическая политика – НЭП. В стране началось возрождение нормальной жизни. В промышленности и в сельском хозяйстве за несколько лет были достигнуты значительные успехи. Появились продукты и товары первой жизненной необходимости. В 1925 году советский червонец на лондонской бирже стоял выше фунта стерлингов. Н. Бухарин призывал крестьянство: «Обогащайтесь!». Это было лучшее время в истории нашего государства, это были лучшие годы существования нашей семьи. Я только одно могу сказать: благополучием моего раннего детства и младенчества, а так же моих братьев и сестер, мы обязаны только тому, что начальные годы нашего существования на земле совпали с Новой экономической политикой в нашей стране.

Мир и благополучие воцарялись в государстве.

Но вожди коммунистической партии не были заинтересованы в том, чтобы наша семья, и наши соседи и все население страны жило безбедно и достойно. Это же могло привести к капитализму. Для чего же тогда нужна была революция? Власти приступили к разгрому достижений в развитии экономики государства. НЭП был отменен. Началось уничтожение крестьянства, после чего страшный голод начала 1930-х годов охватил всю страну.

Тихий вечер на Шеломовской улице летом 1930 года

Улицы с таким названием давно уже нет. Но она была, такая улица, в нашем городе, и жизнью многих поколений отмечена добрая память о ней.

У Шеломовской улицы теперь другое название. После Октябрьской революции, когда разрушали, так называемый, старый мир, городские власти Новозыбкова в порядке своего участия в этом мероприятии, сокрушали божьи храмы, расхищали имущество состоятельных горожан, и заменяли старинные, исторически сложившиеся названия улиц нашего города на новые, отвечающие духу времени. Убожество фантазии переустроителей мира или жесткие требования идеологических установок правительства привели к тому, что в нашем городе, как и во всех без исключения городах Советской России, все главные улица стали называться совершенно одинаково. Куда бы ни заехал советский человек на своей родине, он всюду будет иметь возможность

прогуляться по Коммунистическим, Советским, Комсомольским, Первомайским улицам или по улицам Ленина, по площадям Сталина, а также по Красным, Октябрьским и прочим городским территориям, имеющим названия, утверждающие поклонение великому «учению».

Удивительно, но отцы города оставили Шеломовской улице ее прежнее старорежимное название. Это произошло, видимо, потому, что не очень понятное название улицы не содержало в себе явных противоречий с марксистско-ленинской теорией.

Вроде бы пронесло! Но оказалось, что нет, не пронесло. Прошли годы и, после первого полета советского человека в космос, городские власти из чувства патриотизма и демонстрации своей сопричастности к великому событию не нашли ничего лучшего, как по этому поводу переименовать одну из улиц города. И перестала наша улица быть единственной во всем подлунном мире Шеломовской и превратилась в одну из многочисленных в стране улиц, получивших высокое имя космонавта Гагарина. Более чем двухсотлетнее название кануло в вечность. И пусть оно было не таким уж примечательным и ничего особенного не означало, и, скорее всего, произошло оно от названия деревни Шеломы, куда вела по ней дорога из города, но это – история. Много ли славы прибавилось памяти знаменитого человека от того, что скромная наша улица стала носить его широко известное имя?

С приобретением нового названия наша улица несколько не изменилась, она осталась прежней, со своим давным-давно установившимся жизненным ритмом, с теми же домами и стежками, с теми же калитками и светом в вечерних окнах, с теми же деревьями, раскинувшими свои зеленые кроны над невысокими крышами деревянных домов. Здесь следует добавить, что в последнее десятилетие прошлого века улица наша стала перестраиваться, но это никак не связано с ее давним переименованием.

В пору моего раннего детства Шеломовская улица сохраняла свою старинную благопристойность и имела все признаки обычной улицы уездного русского города. Стежки вдоль домов, тележная колея на проезжей части, на газонах деревья, зеленая мурава, в окнах домов герани. Она небольшая, наша улица, – всего около сотни домов. В ее застройке нет ничего такого, что выделяло бы ее из числа других городских улиц. Начинается она от центра города и выходит в поля на его западной окраине.

В Новозыбкове два озера: Карна и Зыбкое. Карна расположена в другой части города, а Зыбкое с нашего края. Озеро это своим существованием обязано не только одной природе, рукотворность его можно заметить, не обладая даже зорким глазом. В стародавние времена низину речки Зыбкой раскопали, придали ей правильную форму, перекрыли плотиной с каменным мостом и установили на мосту подъемные заслоны, регулирующие уровень воды в образовавшейся озерной котловине. Потом укрепили берега и обсадили деревьями. Озеро получилось очень красивым и стало естественной частью города. Оно как бы прерывает монотонный ритм деревянных улиц и дает человеку возможность переключиться на восприятие иных впечатлений, чем те, которые возникали бы от бесконечно чередующихся домов, заборов, калиток с воротами и окон с геранями.

Радением умных и добрых людей создавался наш город! И как же хорошо, что эти люди не только прямую пользу и практичность имели в виду, решая городскую застройку Новозыбкова. Не последнее место в их заботах занимало понятие о красоте.

На моей памяти озеро Зыбкое было довольно запущенным, зарастающим тиной, водорослями и великолепной светло-зеленой ряской. Вдоль озера со стороны набережной долгие годы сохранялось от старых времен множество могучих раскидистых раkit, сплошными зелеными стенами стоящих над тихой водой. В том месте, где в озеро впадает питающая его речушка Зыбкая, имеется добротный деревянный мост. За мостом направо расположен Сенной базар, давно утративший свое назначение, налево вдоль озера деревянные мостки ведут к рынку и центральной площади города.

Шеломовская улица начинается от озера. В самом ее начале расположен городской парк. Его высокая, деревянная, сквозная, штакетного типа, ограда с нависающими над ней желтыми акациями на целый квартал тянется по нашей улице. Посередине ограды расположены главный вход в парк и касса. Судя по возрасту деревьев, новозыбковский парк может быть ровесником города. Это означает, что с самого начала устройства будущего города его жители на долгие годы вперед решали свою жизнь и жизнь своих потомков с полным пониманием того, что не хлебом единым может быть жив человек. Разве может быть город без городского сада? Наши предки решили, что нет, и кто-то из них, добрый и умный, предложил в нарождающемся городе разбить городской сад. Благодаря этому наша Шеломовская улица известна всему городу. Других официальных достопримечательностей на нашей улице нет.

От парка до нашего дома и дальше до городской окраины, до зеленых огородов и полей Пригородного хозяйства улица наша застроена хорошими деревянными домами со скамеечками у калиток и со ставнями на окнах. Единственной прорехой на нашей улице были огороженные проволочными заборами огороды Анны Савельевны, соседки Василия Николаевича и Брумихи, что жила напротив нас рядом с Масаровыми. Улица наша всегда была чистой – ни рваных газет, ни битых бутылок, ни прочей какой-нибудь дряни не было ни на стежках вдоль домов, ни на проезжей части.

Я побывал за свою жизнь во многих городах России и за рубежом, восхищался не раз архитектурой и планировкой дворцовых ансамблей и усадебных комплексов, парадных площадей и бульваров, видел средневековые улицы и современные проспекты и все это оставляло во мне уважительное удивление гением и трудом человеческим. Но нигде и никогда я не забывал нашей Шеломовской улицы, обыкновенной улицы, где началась моя жизнь и прошло мое детство. Это обычное для каждого человека состояние. В воображении постоянно живут малозначащие, по сути, но немеркнущие воспоминания. Это как сон наяву.

Я помню какой-то летний вечер: в небе еще двигались тяжелые сырые тучи, небо было низкое и все под ним пропиталось влагой. Но ветер затих и дождь прошел. Деревья без малейшего трепета, с отяжелевшими от воды кронами замерли над отсыревшими крышами домов. Тяжелые капли падали с веток в набрякшую водой траву. Клонила сирень над мокрым забором, и поблизости было чье-то открытое окно. Над высоким кирпичным цоколем окно было на высоте человеческого роста. И в этом окне, как будто, виднелось женское лицо, красивое и, кажется, грустное. Было прохладно, сыро и тихо. Вдали, в конце нашей улицы, светилась яркая, необыкновенно чистая горячая полоска заката между серо-фиолетовыми тучами и темной землей. Дома стояли без света в окнах, от этого они выглядели необыкновенно уютно и казались чуть-чуть таинственными. Прохлада, зелень, сырость и какая-то пронзительная добрая печаль. И я в этом вечере, в этой тишине и печали, то ли босиком, то ли приодетый и обутый, но очень маленький и как будто не один.

Какое же это было счастье! Я был крохотной каплей в том огромном сумеречном вечере после дождя, мне было хорошо и покойно. Да был ли когда такой вечер, видел ли я все это? Может, все это мне придумалось в тоске по детству, по моей прошлой жизни.

А вот еще одно воспоминание, очень странное и относящееся к первым восприятиям мною окружающего мира. Я до сего времени не знаю, что со мной было. Но вот какая история. Была очень прохладная весна. Часто шли дожди, все уже было зеленым: и трава, и деревья. На другой стороне улицы от нас, у дома Симы Соркиной рос большой каштан, а дальше до кирпичного дома Шевелевых стояла шеренга высоких пирамидальных тополей. По вечерам под этими тополями появлялся одинокий мужчина высокого роста, одетый в темный костюм. Держался он совершенно непринужденно и медленно прохаживался под строгими тополями; он шел от дома Шевелевых, доходил до каштана у дома Симы Соркиной и поворачивал обратно. И, конечно же, ничего в этом не было необычного, гуляет мужчина по улице, ну и пожалуйста – пусть себе гуляет, дышит свежим воздухом. Но вот что интересно, мужчина, прогуливаясь, свистел. Замечательно свистел! Чисто, звучно, как будто играл на невидимом музыкальном инструменте, отлично владея которым, он насвистывал очень красивые и никогда неслыханные на нашей улице мелодии.

Я помню прохладу и сырость, помню, что от обилия зеленой травы и зеленых деревьев вся улица была освещена сумеречно-зеленоватым светом, и на улице никого не было, соседи сидели по домам, и только странный незнакомый мужчина ходил под высокими тополями и что-то насвистывал.

Вообще-то, свист у нас считался занятием греховным, говорили: свистеть, значит беса тешить. Но я не помню отношения взрослых к этому неизвестному солисту. Очевидно, он был человек неместный, гостил у кого-то или стоял на квартире.

Мне же все это казалось абсолютно правильным и естественным. Я так и понимал, что улица наша единственно правильная улица среди всех прочих улиц, и что на такой хорошей улице обязательно по вечерам должен ходить под тополями высокий мужчина в строгом костюме и насвистывать красивые мелодии. Может, это было одно из самых ранних впечатлений моего детства?

Многие окраинные улицы служили жителям окрестных деревень въездом в город. По Шеломовской улице ездили в город из Нового Места, Шеломов, Святска. Но когда с нашей стороны обосновался Пригородный совхоз, и для того, чтобы попасть из нашей улицы на Новоместский шлях, надо было проезжать по хозяйственным дворам совхоза, ездить в эти деревни по нашей улице стало несподручно, и весь гужевой транспорт на въезд и выезд из города двинулся по Красной улице. У нас стало совсем тихо. Колея посреди улицы подзаросла травой, пыли не было. Редкая телега, проезжающая по нашей улице, имела

определенный адрес, направляясь к кому-то из наших соседей.

Было еще одно обстоятельство, способствующее тому, что мужики соседних деревень не любили ездить по нашей улице. Подальше от дома Дюбичей, ближе к окраинным домам посередине улицы с незапамятных времен образовалась огромная лужа. Объехать эту лужу никак было невозможно – мешали с одной стороны деревья, а с другой убедительной глубины канава. Лужа никогда не пересыхала, а после дождей представляла немалую опасность для проезжих, особенно для тех, кто преодолевал ее в первый раз. Я помню, как однажды в нее опрокинулся цыганский воз. Телегу вытащили и поставили на сухое место, а бедные цыганки ходили в грязной и холодной воде, собирая вывалившиеся из телеги вещи. Другие подводы стояли поодаль, мужчины о чем-то быстро и возбужденно говорили. Меня удивляло, что цыганские женщины ходили по воде, не подбирая своих длинных цветастых юбок, и юбки выше колен были мокрые и грязные. Я думал – где же они просушатся? Когда было собрано все, что можно было собрать, цыгане повернули лошадей и поехали обратно в поле, чтобы через Пригородное попасть на дорогу, ведущую на Красную улицу, и по ней въехать в город.

Лужа эта окаянная в конце нашей улицы просуществовала довольно долго. Чего только в нее не сыпали – она не сдавалась. Окончательно ее победили перед самой войной.

Я теперь понимаю, что тишина и внешнее благополучие нашей улицы держались лишь на том, что Пригородный совхоз в конце двадцатых, да и в начале тридцатых годов не имел большого количества тракторов и автомашин. А если и имел один-два ЧТЗ к середине 1930-х годов, то эти трактора были на таком учете и под таким контролем, что в неоправданные хозяйственной необходимостью рейсы не назначались, а работали в поле, как и полагается сельскохозяйственным машинам. Не возили на тракторе пару бидонов молока и не гоняли за каждой поллитровкой, как это начали делать в послевоенные годы.

В 1985 году я приезжал в Новозыбков. Господи! Что стало с нашей улицей? Патриархальная тележная колея превратилась во множество глубоких и безобразных рытвин, вспоровших весь зеленый покров улицы не только на ее проезжей части, но и вблизи домов. Улица стала практически не проезжей для иного транспорта, кроме могучих колесных и гусеничных тракторов. В борозды, во множестве вспоровшие улицу, домохозяйки начали выбрасывать всяческий хозяйственный хлам и мусор, ненужный во дворах, превращая в свалку нашу

некогда милую и благопристойную Шеломовскую, а теперь улицу Гагарина. И что ведь огорчительно: никого не волновало и не беспокоило это безобразие, сотворенное с городской улицей. Тракторные борозды во время дождей заполнялись водой, а в сухую погоду вывернутая из глубины глина окаменевала и, превращаясь в маленькие Гималаи, представляла собой нешуточное препятствие для передвижения по ней и пешех, и конных аборигенов. Жителей улицы Гагарина это все совершенно не беспокоило. Захлопнули за собой калитку, а на улице хоть трава не расти. Она и не росла.

Что ж, другие люди начали жить на нашей улице... Но об этом речь впереди, а сейчас надо вернуться а далекие-далекие времена моего раннего детства.

Маленьких нас одних на улицу не выпускали, и мы большей частью время проводили во дворе. Но бывали случаи, когда мама, управившись с домашними делами, ближе к вечеру выходила на улицу посидеть на лавочке, ожидая возвращения нашего отца с работы. Это были хорошие вечера. Солнце уходило ближе к Пригородному хозяйству и стояло где-то над домом Дороховых уже не так высоко как днем. Наша сторона улицы солнечная и тень от нашего колодца сдвигалась в сторону наших ворот. Редкие прохожие, все больше соседи, возвращались с работы. Вот прошел странный человек Иванов, всегда одетый в сероватую толстовку с поясом, в сандалиях, в светлом картузе, в очках и с вечным портфелем под мышкой. Наверно у портфеля не было ручки, потому что все мое детство я видел Иванова с этим портфелем, зажатым под рукой. Замкнутый, сосредоточенный, он вышагивает длинными ногами мимо нашего дома и мама уважительно здоровается с ним.

Из-за угла Канатной улицы показалась группа женщин, конвоируемая милиционером. Эти женщины – заключенные новозыбковской тюрьмы; они всегда вызывали у меня страх и жалость. Новозыбковская тюрьма расположена за городским садом на углу Красной улицы и Красной площади, напротив Соборной Михайловский церкви. Женщин ведут в тюрьму после дневной работы в саду и огородах, принадлежащих тюрьме. Целый квартал Канатной улицы между Богородицкой и Кладбищенскими улицами, рядом с православным кладбищем, занимают эти огороды. Усталые молчаливые женщины, выйдя из-за угла, пошли по нашей Шеломовской улице в сторону тюрьмы в сопровождении конвоя. То, что их вели по проезжей части улицы, а не по стежке, где ходят обычные люди, с недоброй определенностью отдаляло этих женщин от обычной человеческой жизни.

Мимо нас прошел Дюбич, высокий строгий мужчина с бородкой в белой рубахе и светлых парусиновых туфлях. Дотронувшись рукой до кепки, он раскланялся с мамой. Дюбичи живут ближе к концу нашей улицы, у них большой под железной крышей дом. Около их дома колодец, который так и называют – у Дюбичей. Но вот что странно, в большом доме Дюбичей проживают только три человека: этот мужчина, что поздоровался с мамой, и две женщины, жена и свояченица Дюбича. Женщины одинаково немолодые, одинаково сухощавые, с одинаковыми невеселыми озабоченными лицами, постоянно отмеченными безысходной печалью и обреченностью. Они никогда ни с кем не разговаривали, на улице появлялись редко, ходили только на базар и в церковь. Одевались почему-то только в черные платья и платки. Детей у них не было, знакомых и родственников – тоже. С соседями они не общались. Жили скрытно и, вроде бы, обеспеченно, калитка у них всегда была на запоре.

Напротив Дюбичей, у Дороховых, снимал квартиру портной Лейба. Он тоже возвращается домой в черном не новом костюме, в кепке и в очках. Немолодой тихий мужчина, он идет по другой стороне улицы так, словно старается быть не замеченным на открытом пространстве, как будто извиняясь за свое появление на людях. Над ним подшучивали, но необидно и незлобно. Однажды на Пасху мой старший брат Леня послал меня к проходящему мимо нас Лейбе и подучил меня сказать ему: «Христос Воскрес». Это было в голодный год и Пасха была бедная. Я подбежал к Лейбе и сказал ему праздничное христианское приветствие: «Христос Воскрес!». Лейба остановился и, ничуть не удивляясь, наклонился ко мне и ответил: «Воистину Воскрес», – потом покопался в карманах и подарил мне десять копеек.

Наша улица никогда не была многолюдной и почти каждый человек, проходивший мимо нас, был знаком нашим родителям. К тому же у нашего дома был колодец, у которого случались встречи с соседями. Вода в нашем колодце для питья не годилась, ею пользовались для поливки огородов, чтобы поить скотину и для прочих хозяйственных нужд.

Гремя ведрами, к колодцу подошла Анна Савельевна или Рябая, как ее обычно называли на улице. Она жила через дом от нас в маленькой хатке со своим тишайшим мужем – сапожником. Анна Савельевна была замечательной огородницей, грядки у нее были всегда в отличном состоянии. Она набрала воды, смотала веревку, сказала маме, что у нее огурцы пустоцветом пошли на грядке за сараем, после чего, вихляя задней частью своего давно нестираного сарафана, понесла ведра с водой к своей колючей ограде.

Из-за угла Канатной улицы показалась подвода. Это Нигрей вернулся домой из своей гужконторы. Он живет наискосок от нас через дорогу. Я до сего времени не знаю, фамилия у него такая – Нигрей – или это уличное прозвание. Усадьба у него большая. Она протянулась аж до самой Богородицкой улицы. Ходил такой слух, что Нигрею однажды надоело жить на нашей улице и он разобрал свой дом, перекантовал его на другой конец усадьбы, и превратился, таким образом, в жителя Богородицкой улицы или, как ее теперь называют, улицы Урицкого, названной в честь человека, который был руководителем Петроградской чрезвычайной комиссии в революционной России. Нигрей через недолгое время возвратил свой дом снова на нашу улицу, на прежнее место. Поглядишь на этого Нигрея, так ни за что не скажешь, что он такой беспокойный и шевутной мужик – шутка ли, дом с места на место перетаскивать. Конь у Нигрея под цвет его бороды, гнедой и такой же сытенький, как и его хозяин. Нигрей заехал во двор и закрыл за собой ворота.

А вот и наш папа показался. Мама заметила его, когда он был еще далеко от дома. Я бегу ему навстречу.

Позже, когда солнце от дома Дороховых перемещалось к Пригородному, и тени деревьев становились длинней, возвращалось с пастбища наше стадо. Пастух гнал его с поля по Канатной улице, и на перекрестках хозяйки разбирали своих коров, и стадо все уменьшалось, пока последнюю корову не зазывала хозяйка, где-нибудь на Верхней улице или еще дальше. Пастух у нас хороший, непьющий, никто на него не обижается, он много лет пасет наше стадо и знает всех коров. Если какая женщина зазеваается и не успеет на перекресток встретить свою корову, пастух сам отделяет ее от стада и отгоняет в сторону так, чтобы она осталась на своей улице.

У нас тоже есть корова, ее зовут Ранетка. Мама никогда не выходила за ней на угол и у пастуха никакой заботы с ней не было. Ранетка сама знала дорогу и, отделяясь от стада, как только оно показывалось из-за угла, медленно и безошибочно шла домой. Она была красавица симментальской породы, единственная в стаде. Белая, с желтовато-коричневыми пятнами, большая, очень спокойная и добрая. Мама встречает ее и открывает ей ворота – в калитку она не проходит. Ранетка становится на привычное место у сарая, мама ставит ей ведро с пойлом, садится около нее на маленькую скамеечку и белые струи, кипя и пенясь, бьют в чистый подойник, наполняя его молоком. Ранетка – добрая память нашего детства, с ней связано воспоминание о благополучной и спокойной жизни нашей семьи. Я не помню, как она появилась у нас, наверно это

было до моего рождения, но хорошо помню, как ее уводили с нашего двора.

Черные дни начинались тогда не только для нашей семьи, но и для всей России.

На нашей улице коровы есть не у всех, но их все же немало отделяется от стада в нашу сторону и направляется к дворам Маши Юрченихи, Нигрея, Масаровых, Симы Соркиной, Митьки... не помню всех. Но надо же учесть, что некоторые хозяева, особенно с конца нашей улицы, коров в стадо не гоняют, пасут сами, поле-то рядом.

Между тем солнце совсем свалило за Пригородное хозяйство и там за силосной башней начинает разгораться закат. Последние соседи от трудов праведных возвращаются по домам. Прошел по той стороне улицы важный человек, зять Симы Соркиной, мужчина с портфелем и животиком. Он работает в каком-то ответственном учреждении, может, в райпотребсоюзе или в райторге, держится особняком и с соседями не знается. Прошкрабала мимо нас тяжелыми сапогами Христина, проехал на велосипеде Тит Григорьевич «фершал», пользующийся большим уважением соседей не то за его ученое звание, не то за его манеру достойно держаться. А вот показался муж Анны Савельевны Моргун, небольшой мужичок в картузе, сапогах и длинном пиджаке. Длинном потому, наверно, что не шили тогда таких пиджаков, которые могли бы быть в пору такому мелкому человеку, как Моргун; какой пиджак ни возьми, он все равно будет велик для Моргуна. Моргун, он же Федор Андреевич, идет заметно под хмельком на своих присогнутых в коленях ногах. Это очень редкий случай, что он под хмельком, его никто никогда не видел пьяным, живет он неслышно и постоянно занят своим сапожным ремеслом. На этот раз Федор Андреевич малость «выпимши». Наверное, получку получил или в сапожной артели что-то отмечали, а может быть, кто-то из заказчиков магарыч поставил. Держится Федор Андреевич пристойно, калитку свою из колючей проволоки находит без затруднений и незаметно скрывается за ней.

На противоположном от нас углу Канатной улицы закрывается лавочка Аронки Гусакова. Лавочка эта маленькая, но в ней всегда можно купить кусок мыла, фунт сахара, спички, пачку чая и другие мелкие товары. Гусаков – один из последних нэпманов в нашем городе, торговля его под давлением власти начинает чахнуть, и, похоже, что он уже не торгует, а распродает оставшиеся от хороших времен товары. Аронка закрывает дверь и ставень на окошке своего торгового предприятия, и неизвестно, откроет ли он его завтра. На перекрестке, на вытоптанном пятачке, собираются мужики: Акимов, Гришка Соколов с

Канатной улицы и Петька Липский из уголовного дома. Эти лихие ребята затевают игру в орлянку. Один из них подбрасывает вверх монету и все смотрят, как она упадет, что будет сверху, орел или решка. Играют по маленькой, просто для развлечения.

За Пригородным догорает закат, на улице начинаются сумерки, кое-где в домах загорается свет, на лавочках собираются женщины. Наш сосед Митька подоил корову и понес крынку молока Титу Григорьевичу. Пробежала через дорогу к Маше Юрченихе Анна Савельевна, попутно переругнувшись с попавшейся ей навстречу Фросей Масаровой, ее постоянной оппоненткой по разным общественным и социально-бытовым вопросам.

Из городского сада доносится приглушенная расстоянием музыка духового оркестра.

На дороге показался извозчик. Это Федор Волков на своем красивом фаэтоне везет Епископа. Этого человека, имеющего явно высокий духовный сан, все называют Епископом, хотя у него могло быть совсем другое духовное звание. В Новозыбкове одно время он бывал часто и снимал квартиру на нашей улице ближе к ее окраине, кажется, у Кублицких. Высокий, стройный пожилой мужчина в длинной черной одежде, он часто ходил мимо нашего дома. А иногда ездил на извозчике. В таких случаях мы с Федей бежали ему навстречу. Епископ просил Волкова остановиться, помогал нам забраться в фаэтон, и мы ехали с ним до его квартиры. Доехав до дома, где квартировал Епископ, мы благодарили его и бежали домой довольные, что удалось прокатиться на фаэтоне, да еще с такой важной особой. Мама всегда нас удерживала от нашей настырности, но не так, чтобы уж очень категорично, ей все-таки нравилось, что ее детям оказывает внимание такой непростой человек. Мы с Федей тоже чувствуем, что поступаем не совсем правильно, но Епископ так доброжелателен и так приветлив, что чувство неловкости само собой как-то сглаживается.

За Пригородным гаснет закат, и верхушки деревьев сливаются с потемневшим небом. Пустеет улица, на город опускается ночь. На Шеломовской улице тихо и темно, не светится даже маленькое окошко Моргуновой хаты.

Утренний свет

Семья наша окончательно сформировалась к 1928 году. Четверо детей было у моих родителей к этому времени: Леня, Федя, я и сестра Вера. Эта, долгожданная отцом, девочка была последним ребенком в нашей семье. Отец работал один. Мама вела хозяйство, занималась детьми и кое-что шила из одежды на заказ для соседей, зарабатывая тем самым далеко не лишнюю копейку в наш семейный бюджет. Это было сравнительно благополучное время. НЭП заканчивался, но еще не грянул «великий перелом», ввергнувший российский народ в пучину бедствий, горя и нищеты.

Я очень бережно храню не столько в памяти ума, сколько в памяти сердца те недолгие благополучные годы жизни нашей семьи, которые так страшно и так бесчеловечно оборвались ужасом голода 1932-33-го годов. Великой милостью судьбы и Божьего благословения я считаю то, что первые мои впечатления в этом мире все-таки были наполнены ощущением добра, тепла и благополучия родительского крова. Мое раннее детство пришлось на такие годы, когда усилиями порядочных людей еще держались последние признаки благопристойной жизни, хотя бы в семейных условиях, вопреки бесчеловечному государственному устройству России.

С какого времени от роду человек может помнить свою жизнь? Где-то я читал, что, в основном большинстве, с четырех-пяти лет. Лев Николаевич приводит удивительный пример воспоминаний о своем очень раннем младенчестве. У меня с этим вопросом полный ералаш и сумятица. Странное дело, но у меня есть убеждение, что я сохранил память о таком событии, которое происходило так давно, что по малости своих лет я никоим образом не должен о нем помнить. Я понимаю, что рассказы старших братьев и родителей могли наложиться на неосознанные лично мои впечатления и превратиться с течением времени в подобие моих собственных воспоминаний. Это вполне вероятно. Но вот странно, что в памяти живут такие подробности происходящего, какие могли быть замечены только мной и о которых никто не стал бы упоминать в своих поздних рассказах.

Вот как все было.

Федю и меня не пускали в спальню, где лежала, как нам сказали, заболевшая мама, и мы толклись то в кухне, то во дворе. День был теплый, было утро и солнце светило в дворовые окна нашего дома. Таня посидела в спальне вместе с мамой, потом быстро куда-то ушла. Через какое-то время к нашему дому

подъехал на извозчике наш отец с Таней и незнакомой женщиной в белом халате. Я очень хорошо видел в открытую калитку гнедую лошадь, запряженную в фаязтон, видел озабоченного отца и женщину-врача с маленьким чемоданчиком в руке.

Они ушли в спальню к маме. Мы с Федей пристроились к окошку и пытались что-нибудь подсмотреть, но окно изнутри было завешено занавеской. Помню состояние какой-то особой занятости, проявляющейся в поведении взрослых, и необычность того, что на нас с Федей никто не обращал внимания. У Федей в руках был «монах» – простая палка с привязанным к ней шпагатом свернутым углом куском бумаги. В иных случаях эта штука занимала, и мы бегали с ней, стараясь, чтобы надуваясь воздухом «монах» повыше взлетал. Но в то памятное утро наш «монах» не вызывал у нас интереса и спокойно болтался на палке. Я помню, что солнце светило в кухонные окна, что означало утреннее время. Так оно и было.

Ничего особенного во всем этом не было, но дело в том, что в этот день родилась наша младшая сестра Вера, а мне в то время не было еще и трех лет.

Конечно же, все эти мои «воспоминания» образовались из поздних рассказов участников знаменательного события.

Вообще, писать о раннем детстве, воссоздавая мир таким, как он воспринимался ребенком – дело непростое. Здесь все из области ощущений, почти недоступных для пересказа, без невольного их искажения. Слово имеет определенное значение, а неточно поставленное в строку, оно или само по себе, или вместе с другими словами может выразить или воссоздать совершенно иные впечатления, чем те, которые испытывал ребенок в определенных случаях.

* * *

Жизнь нашей семьи складывалась самым примерным образом. Мы жили в собственном доме, имели небольшой, но хорошо обустроенный участок земли. В нашем хозяйстве имелось все, необходимое для нормальной жизни. Отец работал, мама растила детей и вела хозяйство в семье и доме. Таня к этому времени окончательно отделилась от нас и жила с дедом на положении молодой хозяйки. Если случались какие затруднения в Танином обиходе, мама приходила ей на помощь. Иногда маме приходилось выговаривать Тане за нерадивость, но,

учитывая ее молодые годы, она не проявляла особой строгости. Дед, хотя к старости и становился строптивым, с внучкой как-то уживался и ладил с ней. Таня как-то рассказывала – не мне, разумеется, но я слышал:

– Когда у меня первый раз пошли месячные, я испугалась, прибежала из уборной в хату, ищу деда, а он в саду был. Нашла его и кричу: «Деда, из меня кишки вылезают! Кровь уже идет!». Дед испугался, побежал вместе со мной к дому, а потом уже во дворе спрашивает: «Откуда у тебя кровь идет и кишки лезут?». Я ему говорю, что пошла в уборную, а из меня кровь как польет. Дед хмыкнул, дал мне чистую тряпочку и говорит: «Подложи и сиди тихо, не бегай никуда, а лучше лежи». А сам помолился на иконы и пошел за мамой. Идет и ворчит: «Вот дура, прости, Господи, и помилуй».

Лет двадцати или около того Таня вышла замуж. С этого времени началось непонятное отчуждение между нашими семьями. Наверное, так поставил Танин муж, несговорчивый и амбициозный молодой человек. Может, его беспокоила экспансия подрастающих сводных братьев своей жены или сыграл роль какой-нибудь инцидент межсоседских отношений, но он первый поставил вопрос об официальном оформлении раздела имущества Василия Николаевича. Наши родители в первые годы вселения в маленький домик не полностью расплатились с дедом и за дом и за землю, хотя мама и продала в то время все ценное, что досталось ей от отцовского наследия. Василий Николаевич с долгом не торопил, и родители мои жили с ним рядом по-добрососедски, без взаимных претензий, но официального документа на куплю продажу части дедовского владения не было составлено. По настоянию Таниного мужа в нотариальной конторе была оформлена актовая гербовая бумага, содержащая сведения, из которых становилось ясно, что «...Василий Николаевич Кудрявцев продал Ивану Васильевичу и Татьяне Федоровне Ковалевым и Потапу Ефимовичу Мосягину принадлежащие на правах собственности, ему, Василию Николаевичу, постройки, а именно...» и т. д. Таким образом, границы наших и Таниных с ее мужем владений строго и документально определились. Я читал старинную казенную бумагу и для меня в ее содержании кое-что казалось странным. То, что узаконилась принадлежность маленького домика с небольшим участком земли моим родителям, это было справедливо и соответствовало действительности. Но вызывало недоумение то, что старый дом и большую усадьбу с постройками дед, оказывается, продал собственной внучке и ее мужу. Это было непонятно. Зачем, спрашивается, Тане с ее мужем выкупать у деда дом и усадьбу, если Таня как единственная внучка и наследница имела право на владение всем имуществом довольно старого деда? Не было ли во всем этом какой-то комбинации, какой-то скрытой интриги, в основе которой могло таиться желание Таниного мужа Ивана

Васильевича Ковалева стать еще при жизни деда полновластным хозяином его усадьбы?

Я боялся Таниного мужа, хотя на нас с Федей он не обращал никакого внимания. Я помню молодого строгого мужчину с бледным продолговатым лицом и темными прямыми, зачесанными назад волосами. Одевался он очень опрятно. На нем всегда был темного цвета френч с поясом, черные брюки не то галифе, не то что-то похожее на галифе, и постоянно черные блестящие сапоги с высокими до колен голенищами. В раскрытом воротнике френча виднелась белая рубашка с галстуком. Где он работал и кем был по профессии, я не знаю, но ходил он всегда с портфелем. Наверное, он был каким-то совслужащим. Моих родителей он не удостоивал ни малейшим вниманием. Я не помню ни одного случая, чтобы он о чем-то разговаривал с ними или что-то обсуждал. Таня тоже начала отстраняться от нас, и забор, разделявший наши дворы, превратился в некое подобие китайской стены, исключавшей всякое общение между нами.

Наш отец, человек корректный, но и независимый, понимая желание Таниного мужа да, вероятно, и деда изолироваться от нас, недолго думая выстроил забор по «демаркационной» линии, разделявший дедовский сад и наш огород. Этот забор был пониже того, который разделял наши дворы, но тоже плотный и внушительный. Для нас с Федей вылазки в дедовский сад прекратились; теперь, только забравшись на перекладины забора, можно было иной раз увидеть, как Танин муж переводил козу пастись с одного места на другое. Ивану Васильевичу для здоровья полагалось пить козье молоко.

До постройки забора мы с Федей, преодолевая запреты мамы, все-таки, нет-нет, да и наведывались на сопредельную территорию. У деда в саду под высокой старой грушей стояла баня. Сейчас я уже не могу вспомнить, по какому делу в один солнечный день нам с Федей непременно надо было пробраться в эту баню. Нас не интересовали ни яблоки, ни груши, ни смородина и вообще мы не помышляли о проведении недозволенных действий по отчуждению дедовской собственности. Просто нам необходимо было попасть в старую дедовскую баню. Дед не очень-то пускал нас в сад, поэтому и приходилось пользоваться подходящим случаем для проникновения на запретную территорию, проявляя настырность и известную долю мужества. Вполне возможно, что хитрости наши деду были известны, но он иногда посматривал сквозь пальцы на безобидные проступки неродных внуков.

Время было полуденное, сияло солнце, и всюду царила тишина. Мы с Федей двинули в сад. По дорожке до бани пройти было всего ничего, но для нас за садовой калиткой начиналась совершенно другая страна, где одни без мамы мы должны были действовать на свой страх и риск. За баней стоял ветхий косой заборчик, отделявший дедовский сад от Моргуновой усадьбы. В темном окне бани было беспросветно, из приоткрытой двери предбанника тянуло застоявшимся духом старых березовых веников и запахом холодной золы остывшего очага. Перед этой дверью, сбитой из темных досок, неприветливой и чем-то пугающей нас, решимость наша поколебалась, и нам что-то не очень захотелось идти в тот сырой полумрак, который таился внутри бани за ее бревенчатыми низкими стенами. Мы заспорили, кому первому переступить порог предбанника. Похоже, становилось, что задуманное нами проникновение в баню утрачивало для нас свой притягательный смысл. Да и что хорошего нас там могло ожидать? Темно, сыро...

А в саду так солнечно, так уютно и так все знакомо: вот старая груша у забора, рядом с ней и по всему саду стоят яблони, вдоль дорожек, протоптанных прядильщиками веревок, сплошными стенами растут кусты смородины и малины. Напротив бани через тропинку стоят два высоких и густых куста жасмина и сирени. Дальше для нас все было нехожено и неведомо. Мы там никогда не бывали. Куда там! Находиться даже здесь у бани – и то казалось делом рискованным. Ведь стоило только зайти за сиреневый куст, как сразу же можно было оказаться в некоем подобии джунглей. Оттуда не видно было ни сарая с большим колесом у стены, ни крыши нашего дома, ни калитки во двор. Узкая тропинка скрывалась в густых кустах, высокие деревья нависали сверху, в конце нашего огорода таинственно темнела вода «копанки», в которой, как говорил Федя, водились караси и еще какие-то рыбы. Нет, дальше бани ходить нам не следовало.

Федя тогда предложил:

– Давай на спор, что я пройду отсюда до нашей калитки напрямую через кусты и не заблужусь.

Это намерение, на мой взгляд, было рискованным, и мысль о его выполнении казалась мне сумасбродной, но мой отважный брат сказал мне, чтоб я по дорожке пошел к калитке и там ожидал его, а сам, пригнувшись, скрылся в зарослях. С некоторой тревогой я ожидал брата в указанном месте. Очень скоро он появился на меже нашего огорода с оцарапанной щекой, но довольный

успехом своего дерзкого предприятия.

– Ерунда, – сказал он, – заживет. Ты только маме ничего не рассказывай.

Мы вернулись во двор. Мама ставила самовар. Светлый дымок из самоварной трубы рассеивался в безветренном воздухе, оставляя приятный запах сгоревших сосновых щепок.

* * *

Я не помню, когда сломали дедовскую баню и по какой причине это было сделано. Куча битого кирпича, зарастающая крапивой и полынью, многие годы после смерти деда оскорбительно и грубо портила зеленую прелесть старого сада. Трудно объяснить, почему не убрали этот кирпич – дело-то простое. Таню, надо полагать, это мало беспокоило. Ее второй супруг, дядя Федя, по горло был занят первые годы своей семейной жизни разрушением дедовских строений, и руки у него до этой свалки просто не доходили.

Зачем сломали баню? Она так уютно стояла в саду, окруженная всякой зеленью под высоким деревом. Как-то зимой отец нес меня на руках из этой бани по нашему огороду вымытого и закутанного во что-то теплое.

– Пяточка не мерзнет? – спрашивал меня отец.

Я отвечал, что нет, не мерзнет, и с любопытством смотрел из теплой глубины одежды на высокое звездное небо, и было мне хорошо и очень удобно на отцовских руках.

Своей бани у нас не было. С Василием Николаевичем и поначалу с Таниной семьей мы жили, как бы одной усадьбой, строго соблюдая пределы дозволенного при владении землей и строениями. Было бы странно при этом на одной усадьбе иметь две бани. До какого-то времени все так и было, но скрытое недовольство таким положением назревало у Таниного мужа и, наверно, у деда. Танин муж эту двусмысленность разом и прекратил. Раздел усадьбы определил положение, забор, построенный отцом, усилил отчужденность между владельцами.

Через какое-то время отец задумал строить свою баню. Это было правильно, не мыться же весь век по чужим баням. Это такая морока – топить чужую баню. Надо было договариваться с кем-нибудь из соседей, да таких, что живут поближе, придется же натащить воды, наносить дров, и ходить мыться все-таки лучше поближе.

В Новозыбкове была общественная баня, но как в нее ходить с тремя детьми?.. Бывало, что мама мыла нас на кухне в корыте, но в бане мыться, конечно же, лучше. Однажды топили баню то ли у Соколовых, то ли у Груни. Кажется все-таки за углом у Соколовых на Канатной улице. За низеньким окошком бани было темно, и мама зажгла какой-то светильник, у которого не было стекла. Сначала мы были одни с мамой, а потом пришла тетя Нюся, наша родственница. Тетя Нюся была моложе мамы и была очень красивая, вся округлая, белая, большая, она очень плавно двигалась в непросторной бане. Она сразу же привлекла к себе мое внимание и я с большим интересом разглядывал роскошные телесные достоинства тети Нюси и нисколько не скрывал свое заинтересованности. Тетя Нюся заметила мое беззастенчивое внимание к ней и сказала маме, что я очень уж смотрю на нее и что лучше она посидит на лавочке. Мама принялась меня быстро мыть и подоспевший Леня отвез меня на санках домой. Сколько же мне могло быть тогда лет? По всем обстоятельствам, не более четырех. Мог ли я все это запомнить? Наверно, да. К стыду своему могу признаться, что я до сих пор не забыл, как в неярком свете в тесной бане двигалась молодая красивая и белая тетя Нюся.

Собственную баню отец начал рубить весной. Каждый день, приходя с работы, он брался за топор и тесал бревна. Пахучие сосновые щепки лежали на земле, чисто обтесанные бревна ложились на свои места, и стены будущей бани росли да росли помаленьку, и к осени, когда убрали огород, сруб был готов. Собирали баню отец вблизи нашего сарая по соседству с Митькиным садом. Маму очень беспокоила то, что будущая баня будет стоять близко к деревянным стенам сарая, она боялась несчастного случая. Упаси, Господи, если что, сарай сразу же загорится вместе с баней, а там и дом рядом. Отец как-то возражал, но изо дня в день мама допекала его своими страхами, и отец уступил ей. Место для бани выбрали в конце огорода напротив кустов сирени и жасмина, только с нашей стороны забора.

Разбирать сруб и собирать его на новом месте дело довольно хлопотное, и отец решил перекатить баню целиком. Дело тоже нелегкое, но баня все-таки не изба, сооружение мелкое и, если делать все с умом, то все может получиться скоро и

хорошо... В какой-то тихий осенний день с утра в нашем огороде по приглашению отца собрались соседские мужики и началось замечательное дотоле никогда невиданное действие. Кто-то подкладывал бревна для перемещения сруба, кто-то работал вагами, отец, упираясь плечом в толстый кругляк, подсунутый под нижний венец сруба, подавал команды. Мужики кряхтели, мама волновалась, мы с Федей глазели на интересное действо.

Баня поехала!

Отец беспокоился, что могут разойтись углы, что может перекошиться коробка, но Клим Аверьянович, двоюродный мамин брат, успокаивал отца:

– Да ты, Ехимыч, баню эту так срубил, что ее не то, что катать, кувыркать можно, и она все равно не рассыплется.

Это было похоже на правду. Баня двигалась к месту своего назначения, не меняя своей формы и не выказывая никаких признаков разрушения. Схваченный крестовинами по верхним и нижним венцам и закрепленный досками в местах оконного и дверного проемов, сруб благополучно доехал до своего места. Огород весь был затоптан, грядки утратили свои очертания, следы от ваг, бревен и сапог искорежили землю, но это было поправимо, так как до зимы было далеко и оставалось достаточно времени, чтобы привести огород в порядок к следующей весне.

По окончании работы мама пригласила всех ее участников на угощение. Захмелевшие мужчины о чем-то шумно разговаривали, что-то обсуждали, потом по обычаям русского застолья завели песню. Не помню, что они пели, но помню, как отец пытался запеть свою песню, которая ему нравилась:

Снежки белые пушистые

Покрывали все поля,

Одно поле не покрыли —

Поле батюшки моего.

Гости нескладно подпевали отцу, но получалось, что-то другое, не то, что ему хотелось.

Я слушал и думал, что ж это за поле такое было у папиного батюшки, что его по какой-то причине не засыпало снегом. Что такое поле, я хорошо знал. Оно начиналось в конце нашей улицы у последних ее домов и простиралось в одну сторону далеко-далеко, до самого леса, а в другую сторону доходило до тех отдаленных мест, куда по вечерам заходило солнце. Это было настоящее поле, в котором не понятно где располагались деревни, откуда в город на базар ездили хохлы, а к нам в гости приезжал дядька Иван, муж нашей тети Фени, маминой сестры. И вот я представлял себе, что в этом большом белом поле есть одно маленькое поле папиного батюшки, почему-то не засыпанное снегом. В этом была какая-то тайна, объяснение этому лирическому парадоксу я нашел значительно позже. Оказывается, что настоящие слова песни, которая нравилась нашему отцу, были несколько иные:

Снежки белые пушистые

Покрывали все поля;

Одного лишь не покрыли

Горя люта моего.

Таким образом, проблема непокрытого снегом поля папиного батюшки сама собой разрешалась. Но это случилось потом, а в тот день, когда катали баню, этот вопрос меня очень занимал. Для завершения воспоминания о том, как отец пел нравившуюся ему песню, следует добавить еще несколько слов. Мало того, что отцовский вариант русской народной песни совершенно менял ее смысл, но была при этом вот еще какая подробность: Первую строку этой песни отец пел на свой лад. У него получалось: «Снежки белы лапушисты...». Это, помнится, меня вполне устраивало: лопушистые снежки я себе хорошо представлял.

Что же касается бани, то история ее строительства не имела положительного завершения. Я не помню, почему отец не достроил баню. Кажется, ее еще раз перекатывали поближе к дому. Отец настелил потолок, собирался устанавливать стропила, намеревался крыть крышу, но что-то ему помешало. Может, трудности с материалами, недостаток средств не позволили ему довести дело до конца. Но, скорее всего, благие намерения отца и его планы на устройство жизни нашей семьи нарушила надвигающаяся на наш город и на всю страну страшная беда начала 1930-х годов.

Наш отец баню так и не достроил.

* * *

Нашего отца за хорошую работу на фабрике премировали путевкой на курорт, в Крым. Отец об одной такой поездке сообщает в своей биографии, а было их две. Первый раз встречать отца на вокзал при его возвращении из Крыма мама ходила с Федей. Мне тоже очень хотелось пойти, но и мама и Федя мне объяснили, что я еще маленький, а до вокзала очень далеко, и я просто туда не дойду.

– Ты подожди, – сказала мама, – в следующем году папа поедет на курорт, а ты за это время подрастешь и тогда мы пойдем встречать папу уже с тобой.

Как же я завидовал старшему брату, что он был на вокзале и видел поезд, что он встречал папу и вместе с ним и мамой ехал домой на извозчике! Это было совершенно исключительное событие. Старший брат, считая себя причастным к этому, очень гордился, но одновременно был снисходителен ко мне, успокаивая и обнадеживая меня тем, что в следующем году я так же, как и он, увижу все то, что ему довелось увидеть и испытать.

Так оно и произошло. В следующем году – это был 1931-й год – летом наступил долгожданный день. Мама нарядила меня в новые, пошитые ей самой штанишки и в новую рубашку. На ногах у меня были тоже совершенно новые ботиночки. Уже только ради одного этого стоило надеяться и ждать такого хорошего случая. Новая нарядная одежда сразу же настроила меня на понимание того, что я участвую в праздничном, необыкновенном событии. Мама тоже нарядилась. Она взяла меня за руку, и мы отправились в дорогу. Погода на мое счастье была хорошая. Улицы, по которым мы шли, казались мне очень красивыми, чистыми и зелеными. Это был главный цвет, который я запомнил в тот день. Повсюду стояли высокие деревья с огромными густыми кронами. Дома, мимо которых мы проходили, казались мне большими и добрыми. Крашеные ставни, герани в окнах, палисадники у некоторых домов, и лавочки у каждого дома, – все это мне очень нравилось и убеждало меня в том, что порядок, заведенный у нас дома родителями, соблюдается во всем городе.

Это было мое первое знакомство с Новозыбковым и оно оставило во мне впечатление добра и надежности. По дороге к вокзалу мы с мамой не встретили

ни одного сердитого человека, нас не облаяла ни одна собака, и мы не слышали не то что какой-нибудь ругани, но даже громкого разговора нигде не услышали. Раза два мы с мамой садились отдохнуть на лавочках у каких-то домов и потом продолжали поход.

На вокзале было много народу. Когда мы с мамой вышли на перрон, я почувствовал, что устал. Перрон на нашем вокзале открытый, солнце сияло во всю, и было очень жарко. В ожидании поезда некоторые люди сидели прямо на тротуаре у стены вокзала. Один мужчина полулежал на какой-то подстилке, и мама попросила у него разрешения посидеть мне на краешке, так как ее мальчик, то есть я, очень устал. Без особого желания я присел с разрешения чужого дяди на его черную пыльную подстилку. Я ожидал поезда и очень боялся прозевать тот момент, когда он будет подъезжать к вокзалу, я даже побаивался, что поезд вообще не приедет, и я не увижу, какой он. Потом мне начало казаться, что поезд опоздает, и мне придется вместе с мамой и со всеми людьми долго сидеть на тротуаре у вокзала и жариться под солнцем. Федя говорил мне, что поезда могут опаздывать, и я очень опасался этого.

Но поезд пришел вовремя. Мне показалось, что на вокзал наехала целая улица одинаковых домов на колесах без крыш и без оконных ставень. Люди, все, которые были на перроне, начали куда-то бегать, что-то спрашивать друг у друга и таскать сумки, чемоданы и разные другие вещи. Мы с мамой скоро увидели папу, он же высокий, и его белая фуражка была сразу заметна над другими людьми. На привокзальной площади мы наняли извозчика, и какое же это было непередаваемое счастье: ехать от вокзала и до самого дома в настоящем фаэтоне вместе с мамой и папой!

* * *

Накануне праздников по вечерам мама перед иконами зажигала лампы. Во всем доме к этому времени наведен порядок, на чисто вымытых полах постелены половики, на окнах белеют свежие накрахмаленные занавески, столы, покрытые выутюженными скатертями, выглядят очень нарядно. Завтра праздник – может, Рождество, может Крещение... За окнами ночь, зима. Зимой мы с Федей спим на печке в кухне. Печка у нас, как крепостной бастион, большая, надежная, на ней тепло, просторно и уютно. Мне не спится. В открытую дверь в спальню мне видно, как перед иконами мягким, неярким светом теплится лампа. От этого на душе спокойно и хорошо. В передней

комнате перед иконой Святой Богородицы тоже горит лампада. С печки это мне не видно, но я там молился Богу на ночь. Мне только видно, как лампада в зале освещает иконостас и ее свет очень красиво поблескивает на позолоченных украшениях и в бисерном окладе иконы.

Маленьких нас мама учила молиться. Мы – старообрядцы и крестимся двуперстным знамением. Богу молиться надо было так: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, прости и помилуй меня грешного». Это надо было три раза сказать и при этом три раза перекреститься. Это было нетрудно и мы охотно это делали по два раза в день, утром и вечером. Потом, когда мы стали подрастать, это отошло как-то само собой под давлением всеобщего безбожничества и государственной борьбы с религией. Но в раннем детстве мы с братом молились, если только можно назвать молитвой то короткое обращение к Богу, которому учила нас мама. Мама говорила, что у всех есть свой ангел-хранитель, и когда человек совершает какие-то плохие, грешные дела и поступки, то его ангел-хранитель на небе плачет и убивается от горя, а если человек хорошие дела делает и не грешит, то его ангел очень радуется за него.

Осенью к нам приходила какая-то бабушка, ее звали Никоновна. Одета во все черное, в длинной до земли юбке, она долго простаивала в зале перед иконами, шепча молитвы и перебирая сухими пальцами лестовку. Мама молилась рядом с ней. Потом эта бабушка пила чай и разговаривала с мамой. Я запомнил, как она сказала, что младенец тоже грешник: «Как только дитёнок переползет порог и скажет слово “бес”, вот он уже и грешник». Такое категорическое определение признаков грешности меня очень расстроило и напугало.

Я лежал на теплой печке, вспоминал строгую бабушку Никоновну и сокрушенно думал о том, что я уже безнадежно пропащий человек. Через порог я не то что переползал, но уже свободно перешагивал и слово «бес», к несчастью своему, говорил уже не раз. Я смотрел на желтый свет лампы, на лики святых, и меня успокаивало то, что мама всегда говорила, что Бог милостивый, что надо только покаяться в своих грехах и не повторять их, тогда Бог простит. Такая мысль меня обнадеживала, к тому же я еще немножко надеялся на моего ангела-хранителя, что он смилуется и заступится за меня перед Богом.

Вера нашей мамы была добрая, прощающая, и дом наш только украшался ее верой. Она никаким духом не была похожа на тех древне-старообрядческих старух, исступленных хранительниц старой веры, на тех женщин с Рогожской заставы, готовых покарать каждого, кто хоть в малом отступал от «канонов

истинной веры». Я прочитал об этом много позже в мемуарной литературе о старой Москве. Мама наша была простой и общительной женщиной, она не чуждалась мирских развлечений, ходила с отцом и в театр, и в кино. Книг «светских» она никогда не читала и ее постоянным чтением были Святцы, Псалтырь и еще какие-то книги в темных кожаных переплетах, истлевших от времени, написанных на церковно-славянском языке. Имелась в нашем доме огромная книга Библия, отпечатанная на двух языках. Каждая страница в ней была разделена вертикальной чертой надвое, слева располагался церковно-славянский текст, а справа соответствующий ему русский. Эту толстенную книгу в нашем доме никто не читал. Отец особенной приверженностью к религии не отличался, он был обычным верующим человеком, вера которого под влиянием общественной антирелигиозной экспансии была довольно размыта. К тому же он удосужился быть выдвинутым на руководящую должность, что, конечно же, никак не увязывалось с преследуемой верой в Бога. В пору моей школьной учебы отец креста не носил, как и мы, его дети. Мама никогда не понуждала его к молитве. Но случалось, что отец становился на молитву рядом с мамой. Она, бывало, стоит перед иконой немного впереди отца, а он чуть позади и справа от нее, и я вижу, как отец отвлекается и пропускает поклоны. Мама, заподозрив его в отлынивании, время от времени поворачивается и посматривает на него, и тогда он, как бы спохватившись, включается в молитву, старательно показывая свой усердие, но через некоторое время опять начинает халтурить. Это случалось редко и в пору моего самого раннего детства. Обычно мама молилась одна. Основная молитва ее проходила в зале перед иконой Казанской Божьей Матери, после чего она обходила с недолгими молитвами перед иконами в других комнатах. В это время никто не мешал ей и не отвлекал ее. Говорили: «Мама молится».

Христианские праздники в нашем доме всегда отмечались и были истинным украшением нашего детства. Разумеется, мы, дети, не очень-то держали во внимании религиозную суть праздника, просто праздник нравился сам по себе. Праздник – это радость, обновки, вкусное угощение, особая доброта взрослых и, вообще, на празднике было всегда хорошо и красиво.

Окончательный разгром религии произошел к началу тридцатых годов. А до этого у нас в городе в некоторых церквях шли службы и люди могли ходить на молитву. В. И. Ленин еще в начале 1920-х годов приказывал грабить церкви и убивать священников, и мне не понятно, почему не расстреляли священника нашей церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Этот батюшка приходил к нам то ли Христа славить, то ли еще в какой-то другой праздник. Он молился, размахивал кадилом, помню, что мне он подставлял свою руку и крест, чтобы я

приложился. Рука у батюшки была веснушчатая, а крест золотой, на батюшке была надета золотая риза. Одетый во что-то темное, дьячок стоял у двери.

Изо всех праздников я больше всего любил Пасху. Случается, когда Пасха бывает ранней весной, когда еще лежит снег и очень холодно, но часто Пасха приходит на такое время, когда весна уже в полном разгаре, и все начинает зеленеть и цвести. Такую Пасху я и запомнил: до нее стоял холод, на улице было грязно, земля не просохла, а вот пришла Пасха, и стало все по-другому, зазеленела трава, на улице просохли стежки, защебетали птицы, и солнце поднималось высоко над крышами домов. Словом, праздник Пасхи и весна часто приходили в одно и то же время.

К Пасхе мама готовилась особенно ревностно, всем нам шила обновки, проводила в доме генеральную уборку, стирала, гладила, стряпала, пекла. Уборка дома начиналась с того, что отец выставлял из окон вторые рамы и уносил их на чердак. Мама начинала то действие, которое тогда у нас называлось «мыть хату».

– Федоровна, – спрашивала какая-нибудь соседка, – ты когда хату мыть будешь?

– Бог даст, начну в среду, а то за один четверг не управлюсь, – отвечала мама.

И вот начинался дым коромыслом. Дом разрушался, все сдвигалось со своих мест, что-то выносили во двор, все подвергалось мытью и чистке. За два дня мама успевала побелить во всех комнатах потолки, а на кухне побелить и стены, и печку, перемыть все скамейки, стулья и двери. Помыть все окна, перетрясти все постели, вымыть полы и расставить все по своим местам. Во всем доме не оставалось ни одного уголка, или чего-нибудь из мебели, не подвергнутого чистке и мытью. Вечером в четверг мама вешала на окна занавески и гардины, перемывала посуду в буфете, ставила тесто для куличей и занималась множеством других предпраздничных дел. Пятница уходила на выпекание пасхальных куличей, крашение яиц и на прочие домашние хлопоты. В пятницу вечером в преображенном доме перед иконами зажигались лампы. Церковной службы не было, даже капличка[3 - Часовня (укр.) либо небольшое христианское здание без специального помещения для алтаря. – Прим. ред.] была закрыта, и мама молилась дома.

Пасха не однажды описана в русской литературе. Особенно хорошо это сделано у Шмелева в его «Лете Господнем». Я не могу и даже не буду пытаться передать то благодное и теплое чувство вхождения в праздник, которое я испытывал в детстве, то мое восприятие праздника и участия в нем. Вроде бы я вот такой маленький, а для меня, как и для всех, создается обстановка присутствия при совершенно необыкновенном и чудесном событии. Осталось в памяти, как нарядный отец в зале христосовался с нами, стоящими в ряд детьми, и раздавал нам крашеные яйца. Потом мы христосовались с мамой.

Я помню, как в одно время в начале тридцатых годов отменили недели, и месяц делился на рабочие пятидневки, четыре дня рабочих – пятый выходной. Люди, сбиваясь со счета, теряли дни недели. Через какое-то время пятидневки заменили шестидневками. Будни и праздники смешались. Мне кажется, что был случай, когда Пасха приходилась на рабочий день.

Как же надо было ненавидеть свой народ, чтобы таким образом расправляться с ним! Ведь основная масса населения страны выросла и сформировалась в других условиях и традициях, в свете иной духовности при другой системе отсчета времени. Весь цивилизованный мир больше двух тысяч лет неделями определял время, и только революция отказалась от общепринятого и столетиями утвержденного порядка. Никто не знал, когда начиналась неделя, и когда она заканчивалась. Наш дом в этом ералаше был оазисом. Мама считала время только неделями, и воскресный день, куда бы он ни приходился, в нашем доме всегда отличался от других дней. Особенно это касалось праздников. Наши соседи ходили к маме узнавать, когда будет воскресенье, когда четверг, когда подойдет Троица или Воздвижение.

Наши именины, дни ангела, как говорила мама, независимо от расклада пятидневок или шестидневок, всегда отмечались пирогами, обновками и какими-нибудь подарками.

Мама во всем была женщиной XIX века. Революция, предложившая ей так называемое равноправие с мужчиной, не поколебала ее традиционного для русской женщины понимания своего назначения, как хранительницы семейного очага и воспитательницы своих детей. Выросшая в условиях благовоспитанной русской религиозной семьи, мама на всю жизнь сохранила почтительность и уважительное отношение к мужчине в семье. Это же она прививала и своим детям. Сначала у нас была детская покорность родителям, а затем осознанное понимание единственно возможного правила семейной жизни, опирающегося на

авторитет отца и матери.

Когда по всей стране разрушали храмы и глумились над религией, мама по вере своей не роптала. Обладая природным тактом и деликатностью, она не выставляла напоказ свои убеждения. Веруя сама, она сумела без назидательности и даже без скрытого упрека жить по своей вере, не навязывая другим то, что составляло смысл ее жизни. Когда мы подросли и новое время привнесло в нашу жизнь новые порядки и правила, мама не противилась ни красным пионерским галстукам, ни безверию своих детей. И только одно было, с чем мама не могла ни примириться, ни согласиться ни на каких условиях – это то, чтобы наш отец стал коммунистом. А ему, как примерному работнику, выдвиженцу, пользующемуся хорошей репутацией на фабрике, не однажды предлагалось вступать в партию. Мама боялась партии и думала, что если отец станет коммунистом, то тем самым он преступит последнюю крайнюю черту, за которой уже не будет Бога, и все жизненно-порядочное в человеке будет утрачено.

Отец послушал маму и это в дальнейшем спасло от гибели и его, и всю нашу семью.

* * *

Наш отец очень любил книги. За работой и хозяйственными делами у него для чтения не оставалось времени, но книги он приобретал, полагая, вероятно, что когда-нибудь сложится такая ситуация в его жизни, что он сможет заняться чтением. Он выписывал замечательный по тому времени журнал «Вокруг света». У меня до сих пор сохранились две годовых подписки за 1929-й и за 1930-й годы. Непростым путем они попали ко мне и я, несколько позже, расскажу об этом. Замечательно, что подписка на журнал «Вокруг света» сопровождалась приложением порой весьма интересных книг, очень дешевых, в бумажных обложках и отпечатанных на газетной бумаге. Книги и журналы отец хранил в двух верхних ящиках комода и это было правильно, мы же были маленькими, и нам было не до серьезных книг и журналов.

Время от времени отец устраивал пересмотр своего книжного хозяйства. Однажды он занимался этим поздним вечером. Я уже спал, но мама разбудила меня, завернула во что-то теплое и усадила на стул в спальне у стола, за которым уже сидели Федя с Леней и рассматривали картинки в книгах и

журналах. Мне тоже дали какую-то книгу и я принялся перелистывать в ней страницы и тоже рассматривал попадавшиеся картинки. Что за книга была, не помню, а вот одну иллюстрацию в ней запомнил – «Вид на Везувий». Яркое горела керосиновая лампа, на столе громоздились стопки книг и журналов, отец просматривал и переключал книги. В замороженном окне темнела зимняя ночь, а в комнате было тепло и как-то по-особенному уютно.

Особенное впечатление на меня в тот вечер произвели иллюстрации из толстого журнала «Мировая война». Солдаты в походе, солдаты в окопах, раненые солдаты в лазарете... Я же знал, что наш папа участвовал в Мировой войне, и все это мне было очень интересно. Огорчило меня только то, что ни на одной картинке я не находил папу, но я никому об этом не говорил. Зато мне много попадалось генералов в красивых мундирах. Особенно значительными и немного загадочными казались мне эти генералы, когда папа говорил, что какой-то из них, очень великолепный и важный, не просто генерал, а генерал от инфантерии. Растрогала меня и до сих пор стоит перед глазами одна запомнившаяся мне иллюстрация: убитый кавалерист лежит на земле, а над ним, склонив голову, стоит его верный конь.

Самое же главное, что не только запомнилось мне в тот зимний вечер, но даже поразило меня, так это фотография в журнале «Нива»: в левом верхнем углу на левой странице был изображен невероятной красоты мальчик в каком-то изумительном мундире с эполетами, орденами и с саблей. Он стоял, картинно опершись правой ногой на какую-то подставку, под фотографией было написано: «Наследник Престола Цесаревич Алексей». Засыпая, я все видел этого прекрасного мальчика и, понимая всю огромность обстоятельств, разделявших нас, даже не завидовал ему. Я просто восхищался им.

Я, конечно же, не мог знать тогда, на какую страшную и мученическую смерть был обречен коммунистами этот ребенок.

* * *

Мама сказала Феде, чтобы он поучил меня читать. Федя ходил уже в первый класс и в достаточной степени овладел грамотой. Я же знал только буквы. Мы с Федей залезли на печку, хотя было совсем не холодно, дело было в начале сентября, и день был погожий. Как-то очень легко и просто старший брат вразумил меня, как надо читать рядом стоящие буквы. То ли Федя был

талантливым учителем, то ли я способным учеником, но с печки я слез вполне грамотным человеком. Я начал читать по слогам, а так как занятие мне это очень понравилось, в результате усердного чтения всего напечатанного, что попадалось мне в руки, я очень скоро овладел техникой нормального чтения и даже начал писать простые слова.

Как-то мы с Федей читали его учебник для чтения, преодолевая некоторые трудные слова: «Мама работает в амбу... ла...». Брат безуспешно пытался прочитать это длинное слово.

– В амбулатории, – подсказал папа, чем-то занимавшийся в коридоре.

Точно, удивились мы с братом, так и написано: «в амбулатории». Но как же это папа знает, не глядя в книгу, что там написано?

Мы продолжали чтение. Несколько строк про маму, работающую в амбулатории, были преодолены успешно. Но вот опять попало трудное слово: «Мама выдает ле...кар...».

– Лекарства, – опять подсказал папа.

Мы с Федей прямо ахнули. Как же это наш папа умеет читать, не глядя в книгу? И тут мы вдруг догадались: когда папа в магазине покупал учебник, он прочитал всю книгу и поэтому помнит, что в ней написано.

Самый старший брат Леня учился тогда уже в пятом классе. Его учебники не оставляли меня равнодушным, очень интересовали меня, и я часто их рассматривал. В одной учебной книжке была помещена такая картинка: слева стоит человек в фартуке с молотом в руке, а за его спиной изображены высокие трубы и заводы, справа нарисован другой человек в подпоясанной рубахе, в лаптях и с серпом в руке. Оба этих человека пожимают друг другу свободные от производственных орудий руки. Под картинкой стояла подпись:

Мы с тобой родные братья,

Я – рабочий, ты – мужик.

Наши крепкие объятия —

Смерть и гибель для владык.

Я самостоятельно прочитал этот стишок и запомнил его на всю жизнь, и он долгое время вводил меня в заблуждение, так как до этого я был уверен, что рабочие – это тоже мужики, а оказалось что мужики – это только те, что проживают в деревне, работают в поле и ходят в лаптях. Судя по стихотворению, получалось, что работающие на фабриках мужчины совсем и не мужики.

Была в Лённом учебнике еще одна запомнившаяся мне картинка. Она была разделена вертикальной чертой на две части. По левую сторону от черты было изображено солнце в небе, поникшая рожь и горестно поникший мужик, созерцающий пропавший урожай; справа от черты было нарисовано тоже солнце, но оно улыбалось и весело смотрело на высокие густые стебли кукурузы и на веселого, очень довольного человека стоявшего рядом. Подписи под этими картинками были стихотворными. Стихи про погибший урожай не помню, зато стихи про кукурузу запомнил:

...Но без всякого конфуза

Прёт и дует кукуруза.

Знай, растет и ночь, и днем —

Ей погода нипочем.

Стихи эти я запомнил со своего собственного чтения. Забавно, что за четверть века до Н. С. Хрущева какой-то составитель школьных учебников активно пропагандировал в нашей стране распространение кукурузы.

Приблизительно в это время или чуть позже меня заинтересовал толстая в строгом темно-зеленом переплете Библия. Русский текст я начал читать сравнительно легко, но смысл читаемого не доходил до меня. «В начале Бог сотворил небо и землю». Эти слова были мне понятны и показались знакомыми, вероятно, мама когда-нибудь говорила об этом. Дальше пошло хуже: «Земля же была безвидна и пуста. И тьма над бездною...». Это было уже малопонятно и немного страшно. Я перевернул несколько страниц. И прочитал: «У Еноха родился Ирод; Ирод родил Мехиаеля; Мехиаель родил Мафусаила; Мафусаил родил Ламеха...». Это сообщение повергло меня в полное смятение, но задумываться я не стал, полагая, что таким маленьким, как я, еще не следует

читать такую важную книгу, и что я еще не дорос до ее понимания. Перелистав еще несколько страниц, я был ввергнут в полное недоумение от прочитанного и, убедившись в абсолютном несовпадении того, о чем читал, с той обстановкой, в которой жил, я с некоторой боязнью закрыл Священное Писание и долгое время к нему не прикасался.

* * *

До революции в Новозыбкове был единственный кинотеатр и назывался он «Модерн». Это было двухэтажное здание, главным фасадом выходившее на Базарную площадь, имевшее зрительный зал всего на несколько десятков мест. В конце двадцатых годов в нашем городе начали строить новый кинотеатр «Октябрь». На строительстве этого кинотеатра погиб наш родственник по маминой линии дядя Федот. Известие о кончине дяди Федота было первым сообщением о смерти, которое я имел возможность как-то осмыслить в полном его значении. Мама надела темное платье, повязала на голову под подбородок черный платок, взяла меня с собой, и мы пошли прощаться с покойником.

Он лежал под образами в чистой уютной комнате. Окошко, под которым было смертное ложе дяди Федота, было закрыто снаружи ставнем, другие два окна на другой стене были прикрыты занавесками. Закрытое ставнем окно над головой дяди Федота как-то очень определенно убеждало меня в том, что свет ему больше не нужен. Я не боялся его. Он был очень молодой и больше был похож на живого, чем на мертвого. Я смотрел на бледное лицо с закрытыми глазами, на причесанные темные волосы, на сложенные под покрывалом руки и мне не верилось, что этот неподвижно лежащий человек уже никогда не шевельнется, не встанет со своего ложа.

Всхлипывали женщины, кто-то читал молитву, горели свечи. На лбу дяди Федота белела бумажная смертная полоска с какими-то начертаниями. Меня удивило, что незакрытые покрывалом ноги дяди Федота обуты были не в туфли, а новые темного цвета тапочки.

Этим же летом мне довелось еще раз коснуться того непостижимого и неизбежного, что, как мне уже было известно, ожидает каждого кто живет на земле. Но одно дело просто знать об этом, и совершенно иные впечатления овладевают душой, когда воочию передо мной произошло событие, смысл которого для меня темен был и страшен.

В конце нашей улицы жила молодая женщина, у нее не было мужа, но ребенок был – маленький двухлетний мальчик, за которым присматривала бабушка. Этот мальчик умер. Об этом мне сказал Гейчик Масаров, парнишка лет четырнадцати или около того.

Он жил напротив нас. Он же мне и предложил пойти на кладбище посмотреть, как будут хоронить умершего мальчика. Идти на кладбище было близко, стоило только пройти через двор и огороды Макаровых, и сразу же можно было попасть на Богородицкую улицу, где и было кладбище. Кресты, памятники, какие-то маленькие каменные домики, ограды и много больших деревьев – все это для меня было ново. Но самое страшное, что я там увидел, это глубокая могила, куда должны спустить гроб с умершим мальчиком. Священник читал молитву, женщины держали под руки осиротевшую мать, рядом стояли разные люди, наверное, родственники и соседи. Когда опустили гроб в землю, мать упала на землю на краю могилы и бурно, с причитаниями, плакала. Кто-то хотел ее поднять, но одна бабушка сказала, не надо, пусть она поплачет. Гейчик взял меня за руку и мы пошли домой.

Долгое время не уходило из моей памяти все увиденное на кладбище. Не ушло и теперь. Но время и жизнь смягчает и как бы отдаляет от нас мучительные и горькие впечатления и, не стирая их из памяти, возвращает нас к восприятию иных светлых реальностей. А иначе просто нельзя было бы жить.

Гейчик, с которым я ходил на кладбище, был одним из младших сыновей многочисленной семьи Агея Петровича и Фроси Масаровых. Он был значительно старше и меня, и Феде, но как-то так сложилось, что какое-то время мы не то что дружили с ним, а как говорится, водились. Он был хромой, поэтому, может быть, у него и не было товарищей его возраста. Что же касается нас с Федей, то нас-то было двое и нам никогда не было скучно. А Гейчик нам нравился, мы его жалели, он был добрый и какой-то обиженный, хотя никогда ни на кого не жаловался. В школу он не ходил. Мы его спрашивали, почему. Он объяснял как-то странно: потому, что его «учителка» никогда не вызывает к до?ске. Так и говорил, к до?ске, а не к доске?. Гейчик очень хорошо лепил маленькие фигурки птиц, собак и лошадок. И мне и Феде фигурки эти очень нравились, были они приятного зеленоватого цвета, тяжеленькие. Гейчик говорил, что он лепит их из глея. Мы не знали, что это такое, и он объяснил нам, что это особая глина и он один знает, где ее можно достать. Он говорил, что накопает много глея, налепит разных зверей, продаст их на базаре и купит себе новый картуз. Нам было очень интересно, как он все это будет делать. Но затея Гейчика ничем не закончилась.

Он стал реже выходить на улицу и почти перестал общаться с нами. Как-то Федя спросил его, куда он подевал готовые фигурки, и он ответил, что побросал в колодец. Нам было жалко.

А Гейчика отец усадил рядом с собой на сапожническую липку, чтобы он приучался к делу, а не болтался зря по улице. Наверное, это было правильно. Гейчик, или лучше сказать Агей Агеевич, стал хорошим сапожником.

* * *

Лето 1931-го года мне запомнилось необыкновенной, почти физически ощутимой благостью семейной жизни. Я не помню, чтобы кто-то болел из нас, чтобы случились какие-нибудь осложнения бытового плана. Мама с папой никогда не скандалили, ни разу никто из детей не слышал от них грубого слова. Все шло в нашей семье спокойно и размеренно.

Мои впечатления от этого доброго лета дополняются одним воспоминанием. Откуда-то в нашем доме появилась небольшого формата, толстенькая, растрепанная малость и без обложек книжечка басен Ивана Андреевича Крылова. Первой и последних страниц в этой книжечке не было, бумага в ней была очень прочная, тонкая и совершенно пожелтевшая. Но что было замечательно в этой книге, так это то, что каждая басня была очень хорошо проиллюстрирована. Каждая басня начиналась с новой страницы, а выше названия размещалась маленькая, но подробная и очень красивая иллюстрация, выполненная с такими ювелирными, с такими мелкими деталями, что я и сейчас диву даюсь искусству художника, выполнившего такую тонкую работу. Это, бесспорно, были гравюры старинных лейпцигских мастерских.

Мне было пять лет, я довольно сносно читал, хотя писал плохо. Кстати, я и сейчас плохо пишу, почерк у меня скверный. Баснями я зачитывался и все лето не расставался с полюбившейся мне книжкой. Я не мог, разумеется, осмыслить басенных аллегорий и сюжеты басен воспринимал напрямую, как рассказ о каком-то интересном событии. Мне не мешали и не затрудняли моего чтения «излишества» старинной орфографии, все эти яти и ферты так же, как и мелкий шрифт, не усложняли моего чтения. Справедливости ради следует сказать, что заинтересовался я чтением басен благодаря изумительным иллюстрациям. Я бесконечно рассматривал эти миниатюрные картинки и вместе с папой удивлялись тому, как они красиво и как похоже нарисованы. Вот обалдевший от

демяновой ухи незадачливый Фока с шапкой в руке бежит прочь от стола, а толстомордый Демьян пытается его удержать. На заднем плане у стола дородная и симпатичная хозяйка наливает большим половником очередную порцию ухи и с удивлением смотрит вслед убегающему гостю. А вот повар в белом колпаке и с черпаком в руке увещевает кота не есть курицу. На крошечной картинке нашлось место и повару, и коту, и плите с множеством всяческих горшков, сковородок и кастрюлек, на стене изображены полки с посудой, связки лука и еще какие-то подробности. Особенно мне нравилась потрясающая иллюстрация про слона и Моську: невозможно понять, как можно на совсем маленьком рисуночке разместить улицу с домами, прохожих, восточного человека, ведущего слона, и маленькую, яростно нападающую на огромного слона, злющую собачонку. Я не мог отвести глаз от изображения несущейся под гору телеги с горшками и лошади, упирающейся в дорогу, чтобы сдержать накатывающийся на нее воз. Я подолгу рассматривал, как медведь гнет дуги, как играет замечательный квартет, мне было очень жалко больного льва, и мне очень не нравился противный осел, пинающий его копытом. Так убедительно, так искусно все это было нарисовано, что я мог бесконечно любоваться этими картинками и перечитывать басни, которым они были посвящены.

В давние времена, где-то в конце первого тысячелетия византийские учителя для обучения детей чтению всем другим литературным источникам предпочитали басни. Детей учили чтению по басням, потому что в детское воображение закладывались крупницы морали и правил общечеловеческих отношений. Я же навсегда остаюсь благодарен неизвестному мне издателю старинного сборника басен Крылова и талантливому художнику, иллюстрировавшему эту книгу.

* * *

За год или два до школы меня определили в детский сад, устроенный фабрикой, на которой работал папа. Детский сад почему-то называли детской площадкой. Когда я попал в это заведение, то, к своему удивлению, не обнаружил там никакой площадки. Это был двухэтажный дом на Ленинской улице с просторными светлыми комнатами, с большим садом и двором, с красивыми остатками разрушенных ворот и калитки. Дом этот принадлежал раньше купцам Петуховым, им же принадлежала и мукомольная мельница, расположенная напротив этого дома.

Отцу как примерному работнику и многосемейному выделили одну путевку в детский сад.

Вера была еще маленькая, Федя уже учился в школе, поэтому решено было, что ходить в детский сад буду я. В моей памяти ничего не осталось от моего пребывания на «детской площадке». Вот только один случай. Ребята вдруг обнаружили, что я умею читать. Они притащили откуда-то толстую старую книгу, листали ее наперебой и заставляли меня читать на разных страницах. Причем, никого не интересовало, что написано в книге, о чем в ней говорится, а было всем занято только то, что один из них, такой же, как они, пацан и вдруг читает.

– А из другой книги можешь прочитать? – спросили меня.

Я ответил, что могу. Тут же появилось несколько солидных старинных книг. Было совершенно не понятно, откуда мальчишки их таскали. Наверно из неокончательно разграбленной библиотеки бывших хозяев дома. Книги выложили на стол и, открывая их наугад, совали мне наперебой, указывая пальцем, где я должен читать, что я и делал весьма охотно и без затруднений. Один противный пацан, очень грубый и задиристый, подошел позже других, послушал, как я читаю, а потом сказал:

– Читай, читай. Он тебя зачитает.

– Кто зачитает? – спросил я, совершенно не понимая, о ком он говорит.

– Кто, кто, – авторитетно заявил мальчишка. – Знаем, кто. Домовой!

Ребята переглянулись и притихли. Я перестал читать и огляделся. Не похоже было, чтобы в этой пустой и светлой комнате с единственным столом посередине мог находиться домовый. Ну, где ему здесь быть? Разве что вот в этой красивой, облицованной бирюзовыми плитками, печке? «Не может быть», – решил я и продолжил чтение.

В детском саду мне не нравилось, но я был послушным и ежедневно с утра уходил из дому вместе с папой. Он шел на работу, а я в детсад. Единственно, что было там хорошо, так это то, что сразу после обеда можно было уходить домой. До дома было далеко, практически на другой конец города, но я ходил один, не

боялся и ни разу не заблудился. Один раз, возвращаясь из детсада, я был свидетелем необычного случая, о чем я рассказал дома, но мне никто не поверил.

Я шел уже по Шеломовской улице, миновал дом маминых родителей у старого дуба и проходил мимо дома Пискаревых, когда вдруг услышал, что позади меня кто-то бежит. Я обернулся. Высокий мужчина, босой, без картуза, в какой-то длинной, коричневого цвета хламиде, с испуганным лицом бежал по траве рядом со стежкой. За ним гнался милиционер. На улице прохожих не было, я был один единственный свидетель этой погони. И убегавший мужчина, и преследовавший его милиционер – оба они, как способные артисты при правильной режиссуре, точно выполняли свои роли: убегавший мужчина изо всех сил убегал, преследующий его милиционер добросовестно его старался догнать. Причем, все это происходило, как в немом кино, при полном молчании. Милиционер не кричал: «Стой! Стрелять буду!». Убегающий мужчина не взывал о помощи. Добежав до угла Канатной улицы, беглец повернул в сторону улицы Урицкого. Я дошел до этого перекрестка раньше милиционера и посмотрел вслед беглецу, но он как сквозь землю провалился, его нигде не было видно. В обе стороны от перекрестка Канатной улицы не было ни души. Подоспевший милиционер остановился в недоумении, преследовать было некого.

– Куда он повернул? – спросил у меня милиционер.

– А его нигде не было видно, – ответил я со всей искренностью, на какую только был способен.

Милиционер поднял наган и выстрелил в пустую Канатную улицу, затем вложил оружие в кобуру и, огорченный, пошел обратно. Я удивился, что выстрел из настоящего нагана, впервые мной услышанный, был значительно тише, чем я ожидал. Рассказу моему об этом событии ни мама, ни Федя не поверили.

В детский сад я ходил только до холодов. Светало поздно, темнело рано, с теплой одеждой возникли проблемы. Зиму я сидел дома, и это меня вполне устраивало.

* * *

Каждый день в городском парке играл духовой оркестр. У нас во дворе хорошо была слышна его музыка и воспринималась, как красивое завершение доброго летнего дня. Заканчивались дневные заботы, теплый сумрак опускался на деревья в дедовском саду и на крыши сараев. На траве появлялась роса. Мама закрывала ставни, запирала калитку, и мы укладывались спать. Было тихо на улице, во дворе, в доме, и только музыка духового оркестра из нашего парка еще долго была слышна, мелодичная, отдаленная, негромкая.

Мне всегда хотелось посмотреть, что делается по вечерам в парке под эту красивую музыку. А происходили там иной раз события удивительные и замечательные. Леня рассказывал, что в парке часто показывают кино на вольном воздухе. Я никогда еще не был в кино, и увидеть это необыкновенное чудо было для меня очень заманчиво. Но если Леня, самый старший из нас, мог пользоваться большей свободой, чем мы с Федей, и с маминого разрешения уже не раз вечерами побывал в городском парке, то мне, пятилетнему, и думать об этом было противопоказано. К тому же и делать мне там было совершенно нечего. Маленьким детям из нормальных семей полагалось в позднее время спать по домам, а не слоняться Бог знает где. Так думали мои родители, и, конечно же, они были правы.

Но вот кино...

Наш городской парк в те далекие годы еще не был парком культуры и отдыха и был он, скорее всего, даже не парком, а городским садом. Он не был застроен культурно-развлекательными объектами и многочисленными торговыми точками. Из аттракционов в нем имелись только качели, именуемые лодками потому, видимо, что они были сделаны в виде лодок, и танцевальная площадка. Это не перегружало городской сад. Великолепная растительность была главным его достоинством: огромные липы и клены стройными рядами стояли вдоль прямых аллей, соединяя над ними свои густые красивые кроны, на газонах размещалось множество цветочных клумб и между ними росли фруктовые деревья. Вдоль оград сплошной стеной росла желтая акация. По вечерам городской сад посещала приличная публика, ни о каком хулиганстве, драках или каких других безобразиях никогда не было речи.

Духовой оркестр был неотъемлемой частью и душой вечернего городского сада, его благородная музыка пленительно звучала в освещенных аллеях, в таинственных затемнениях боковых дорожек и в дальних уголках сада. Музыка уплывала в ближние городские улицы и затихала в отдаленных кварталах.

К началу 1930-х годов Новозыбковский городской сад стал именоваться Городским парком имени Луначарского. Почему Луначарского – никто не знал, да и не интересовался этим. Назвали – и ладно. Власть постановила, значит так надо.

Вход в парк по вечерам был платный. Безбилетных «зайцев» время от времени отлавливали дежурные и выпроваживали за ворота на улицу. Проникнуть в парк без билета – это еще было полдела, главное было в том, чтобы вовремя избежать зоркого ока контролера. Однако в те вечера, когда на вольном воздухе в парке показывали кино, администрация парка на безбилетников смотрела сквозь пальцы. Видимо, потому, что без юных зрителей кино в парке и смотреть было бы некому. Крутили кино в стороне от главных аллей в мало освещенном месте, неподалеку от летнего театра.

Леня говорил, что в парк попасть нетрудно, главное не нарваться на сторожа или дежурного. В парке было достаточно глухих неосвещенных уголков, заросших акацией, какими-то кустами и даже крапивой. В таких местах в ограде парка устраивались потайные лазейки: подашь в сторону отодвигающуюся рейку, пролезешь в дыру, поставишь за собой рейку на прежнее место – вот ты и в парке, и никакого билета не надо.

Я много раз просился, чтобы меня отпустили вместе со старшими братьями посмотреть в парке кино на вольном воздухе, и, хотя мама понимала, насколько это для меня интересно, она не отпускала меня. Однако настал такой случай, когда маме, во всем признававшей порядок и правила, пришлось уступить моим приставаниям. Да и как было не уступить, когда Леня сообщил, что в парке, когда стемнеет, буду показывать кино про пионерский лагерь, как в нем живут дети и чем занимаются. Слава Богу, был август и темнело рано, не то, что в июне или в июле. Леня в пользу самого веского аргумента, в пользу того, чтобы меня отпустили, сказал маме, что, когда в парке бывает кино, дежурные пацанов не прогоняют, а только требуют, чтобы не бегали по парку. Не знаю, как мама согласилась, но под Лёнину ответственность мне было разрешено идти в парк смотреть кино на вольном воздухе. Однако что же это означало – идти в парк? О билетах и речи не могло быть, по вечерам детям их не продавали и в парк детей по вечерам даже с билетами не пропускали. Значит, оставалось одно – дырка в заборе. Леню это не смущало нисколько.

Когда начало смеркаться, Леня, Федя и я пошли на дело. Я малость трусил, мне казалось, что все люди, встречавшиеся нам на улице, хорошо понимали, что мы идем совершать нечто недозволенное и даже наказуемое. Леня по пути предупредил нас с Федей, что если сторож забил дырку гвоздями, то придется лезть через забор.

– Ты не бойся, – сказал он мне, – Федя тебя подсадит, а я помогу вверху. Главное, когда будем в парке, надо побыстрее убегать от забора. Не потеряйся и не отставай от меня.

Я думаю, разведчик, впервые идущий в тыл врага, меньше испытывал волнения и внутренней напряженности, чем я, когда подходил к Городскому саду. Я был готов к самым неожиданным, к самым опасным и рискованным действиям, хотя присутствие двух братьев обнадеживало меня и придавало мне решимости. Однако все оказалось до удивления просто: Леня подождал, пока прошли случайные прохожие, быстро нашел тайную рейку в ограде, отвел ее в сторону, и мы с Федей быстро пролезли в образовавшуюся дыру. Леня поспешил за нами. Нам даже не пришлось бегать через кусты и крапиву, эти заросли мы прошли спокойно и оказались в парке. Там, где мы находились, света было мало, освещенные аллеи с нарядной публикой были в стороне от нас. Леня уверенно повел нас туда, где должно было быть кино. Здесь, на траве, уже сидело немалое скопище мальчишек и даже девчонки были. Белый экран был натянут, механик устанавливал аппаратуру, рядом с ним сустились большие ребята, определяя очередь кому крутить ручку динамо.

Трава была холодная и сырая, сидеть на ней было неудобно, пацаны все время перемещались, выбирая места получше, галдели, спорили. Я терпеливо ожидал начала кино. И вот застрекотал аппарат, белый луч прорезал темноту и осветил экран.

В общем, кино мне не понравилось. Поначалу меня, конечно, поразило мелькание и передвижение по белому полотну людей и различных предметов, занимала меня быстрая перемена изображения разных помещений и местностей, но как только я немного свыкся с этим и начал вникать в содержание того, о чем рассказывалось в кинофильме, мне стало неинтересно. А в кино показывали, как юные пионеры проводят лето в пионерских лагерях: как они спят в палатках и утром просыпаются по сигналу горна, как делают зарядку, как завтракают, а потом занимаются полезным трудом. Они все время отдавали салют своим руководителям и друг другу, постоянно строились в ряды и с

барабанным боем маршировали и все в таком роде весь фильм. Кино, разумеется, было немым, и зрители хором, хотя и невпопад, читали надписи. Главного героя в фильме не было и, чтобы внести в сюжет элемент занимательности и как-то оживить действие, в дисциплинированный пионерский коллектив был введен один нерадивый персонаж. Утром он просыпал подъем и его за ноги вытаскивали из палатки. Под дружный хохот зрителей, он плохо ходил в строю, не умел отдавать салют и не мог вытащить из костра печеную картошку.

Я, хоть и маленький был, но во мне зарождался мой противный индивидуализм и мне не нравилось, что все одинаково одетые и одинаково постриженные мальчишки толпами бегали по экрану и непонятно чем занимались. Меня, как это ни странно, даже сам факт оживления на полотне людей и животных не очень удивил. Наверно, потому, что я был готов к этому по рассказам своих старших братьев.

А вот что меня по-настоящему поразило в тот вечер, так это ракеты. Кто-то запускал их в темном месте за летним театром после того, как закончилось кино. Яркие звездочки рассыпались высоко в небе на множество мелких пылающих огоньков и, падая, гасли в невидимых кронах деревьев. Это было очень красиво и совершенно неожиданно.

Домой мы все втроем вернулись без приключений, но если в парк мы входили противозаконным способом, то уходили из парка, как вполне полноправные граждане. Мы свободно шли по освещенным аллеям к центральному входу и беспрепятственно мимо контролеров вышли на улицу.

Второй раз я побывал в кино таким же способом, через дыру в заборе, вместе с моим старшими братьями. Но на этот раз я смотрел трагическую историю жизни и смерти героического патриота Италии и бесстрашного человека. Я смотрел кинофильм «Овод». Так же, как и в первый раз, я сидел на холодной траве, меня также окружали подвижные и бесцеремонные мальчишки, также стрекотал аппарат и над головами зрителей метался неустойчивый луч проектора, воспроизводя на полотне захватывающую историю благородного Овода. За свою жизнь я видел несколько киновариантов замечательного романа Э.-Л. Войнич, но в памяти моей живет тот упрямый страдалец, который посмотрел мне в душу с белого экрана немного кино, на вольном воздухе в нашем парке. После «Овода» я побывал в вечернем парке еще только один раз, мама решительно прекратила мои поздние набеги на его территорию. Не помню, какое показывали кино, но по

его окончании мне представилась возможность познакомиться с тем, что делается по вечерам в нашем парке. Лене с Федей надо было оторваться куда-то по своим делам, а я им мешал. Леня посадил меня около оркестровой раковины и велел мне никуда не уходить и ждать их возвращения. Сначала я немного оробел, но, освоившись, начал осматриваться.

Оркестровая раковина была удивительным сооружением, похожим на отрезанную часть какого-то огромного пустого шара. Внутри круглого пространства, открытого с одной стороны, ярко сиял электрический свет и сидело много мужчин с невыразимо красивыми инструментами, из которых они извлекали не менее красивую музыку. На специальной подставке перед музыкантами стоял плотный дирижер. Седой осанистый мужчина под музыку помахивал недлинной тоненькой палочкой. Музыканты дули в свои трубы и никакого внимания на него не обращали, но для чего-то ж он им был нужен, хотя я точно заметил, что никто, кроме барабанщика, на него не смотрел.

Перед оркестровой раковиной был разбит небольшой цветник и огорожен низеньким штакетным заборчиком. Я примостился с краю этой оградки и смотрел на играющих музыкантов, на их дирижера и слушал музыку. Это было очень увлекательное занятие, первый раз в жизни я видел, как возникает музыка. Я боялся, что меня прогонят, но, к счастью, на меня никто не обращал внимания, и я без огорчений дождался своих братьев.

Вечерний парк показался мне очень красивым. Он был похож на большое помещение, увешанное электрическими лампочками. Освещенные снизу кроны деревьев воспринимались, как необыкновенный потолок, под которым было очень красиво, светло и уютно. Все вокруг было так спокойно и так неопасно, что я, пятилетний, ничего не боялся. По аллеям во встречных направлениях прогуливались нарядные люди, а некоторые сидели на больших скамейках. До этого случая я ни разу не видел такого большого количества нарядных людей, собранных в одном месте.

Мои старшие братья с разрешения мамы продолжали ходить по вечерам в парк смотреть кино на вольном воздухе, а я как-то сам осознал, что для меня это не годится. Мама сказала – подрастешь и все еще увидишь. Это было правильно, но главное было в том, что я просто утратил интерес и к предосудительным проникновениям на территорию парка через дыру в заборе, и к самому кино. Мой милый растрепанный томик басен Крылова с его замечательными иллюстрациями для меня был значительно интересней.

Сестры моей матери

У нашей мамы было три сестры: тетя Вера, тетя Феня и тетя Ксения. Самая старшая из них была тетя Вера. Я видел ее только на фотокарточках, на одной из которых она снята со своим мужем, а на другой – с нашей мамой. Статная круглолицая женщина в длинном, по моде того времени, платье, на фотографии с мамой тетя Вера выглядит очень строгой. На фотографии с мужем она помоложе и выражение ее лица значительно мягче, в ее позе и в положении рук просматривается вынужденная мгновенность остановленного движения, как будто неподвижность, несвойственная натуре позирующей женщины, может быть нарушена в любую следующую секунду. Тетя Вера стоит чуть позади своего сидящего на скамье мужа, слегка подавшись к нему. Ее губы только что улыбались и в глазах ее светится еще не погасшая веселость и даже озорство, как след того настроения, которое владело ей перед тем, как фотограф снял крышку своего фотографического агрегата.

Супруг тети Веры, Матвей Осипович Непогодин, в свободной позе сидит на скамье, облокотившись рукой о деревянную спинку. Это очень крупный мужчина и, по-видимому, очень сильный. У него молодое высоколобое лицо, взгляд сосредоточенный и непреклонный, у него борода и усы. Усы замечательные, прямые, разлетающиеся по сторонам, густые, но не «будённовские». Этих его усов вполне хватило бы на две пары каких-нибудь усов для старорежимных фельдфебелей. Борода у Матвея Осиповича небольшая, но густая и аккуратная. В лице его просматривается что-то скобелевское, смелое и открытое.

Матвей Осипович был, как говорили в то время, человеком самостоятельным: имел кузницу, сам в ней работал, имел хороший, на кирпичном цоколе, большой дом на Кубановской улице. У него был даже свой выезд – лошадь с коляской. Разумеется, лошадь ходила не только в коляске, она и хозяйство, и кузницу обслуживала, но то, что у Матвея Осиповича имелась выездная коляска, свидетельствовало о наличии у него свободных денег. Он был достойным членом общества, в котором высокую цену имела добропорядочность, обеспеченная успешной работой, а также умением честно наживать имущество и деньги. Доброе имя и состоятельность определяли общественный вес и уважение, которым заслуженно пользовались такие люди.

Советской власти граждане, подобные Матвею Осиповичу, были не нужны. Если человек не гол и не беден, то он, по словам заблудшего, трагически обманутого и любимого мной Макара Нагульного, «эксплуатировал чужим трудом и пил кровь из разных угнетенных наций». Матвей Осипович не литературный герой, а живой человек, он никого не эксплуатировал и не пил чужой крови – он был труженик, никого не боялся, имел гордый и независимый характер.

Непонятно каким образом у меня сохранилась маленькая, отпечатанная в типографии на хорошей бумаге, написанная красивым шрифтом поздравительная карточка:

«Честь имеем поздравить Вас с высокаторжественным Праздником Рождества Христова и с наступающим Новым годом.

Искренне желаем Вам всего хорошего.

Матвей Осипович и Вера Федоровна Непогодины».

О многом говорит мне эта изящная карточка. Не чужд был светскому обхождению муж маминой сестры и, видимо, строил свою жизнь на некоторых примерах взаимоотношений новозыбковской знати. Карточка с любезнейшим поздравлением была направлена, скорее всего, маминему отцу, человеку одного имущественного круга с Непогодинами. И, пожалуй, это было в ту пору, когда еще была жива матушка моей мамы. Даты поздравления на карточке не указано.

Наш отец, простой рабочий спичечной фабрики, раненый солдат Мировой войны, конечно, был не ровней Матвею Осиповичу. Я думаю, что мамин выбор мужа во втором браке неодобрительно был встречен в семье ее старшей сестры. Отец, не менее чем его свояк, человек независимый и прямодушный, не общался с Непогодинами, не без основания считая, что он им не пара. Они, мол, люди богатые, и навязываться им не следует. Матвея Осиповича это тоже, вероятно, устраивало. Хотя не хочу грешить, я не знаю, как он относился к нашему отцу.

Кузницу Матвея Осиповича я видел, она стояла у каменного моста, на речке Карне, вытекающей из озера напротив сада Пожарного общества. Смутно помню одетого во все черное крупного мужчину с каким-то железом в руках. Во время НЭПа, как и до революции, Матвей Осипович содержал свою кузницу и работал в ней с нанятым молотобойцем. Мастер он был хороший, и заказов у него было

достаточно. Естественно, выездной коляски у Матвея Осиповича уже не было и утрачено было им положение уважаемого городской властью человека, что, конечно, тяготило его и с чем он не мог примириться.

Тетю Веру я никогда не видел и не знаю, какая она была. Она рано умерла, и после ее смерти остались две дочери, Нина и Ольга, и сын Костя, мой ровесник. Мама все сокрушалась о сиротской доле ее племянников. Матвей Осипович вдовцом ходил недолго и скоро женился на какой-то противной тетке, которую я видел один только раз, а вспоминаю о ней с неприязнью. Мама тоже не очень лестно о ней отзывалась. Счастлива ли была тетя Вера со своим мужем, об этом мама никогда не говорила. Ни одного дурного слова о Матвее Осиповиче я от нее никогда не слышал, да и отец о нем плохо не отзывался.

Матвей Осипович был репрессирован в начале 1930-х годов. С той минуты, как, арестованный, он ступил за порог собственного дома, о нем никто никогда не имел никаких известий. Все прошло глухо. Был человек – и его не стало. Ходил слух, что Матвей Осипович был расстрелян в Новозыбковском отделе ГПУ в первые же дни после ареста.

В чем состояла его вина перед советской властью? Единственно в том, что он был порядочным человеком, не холуистовал перед новой властью и держался всегда независимо. Вполне возможно, что сгоряча он позволил себе нелестно отозваться о каком-нибудь ворюге и шкурнике, стоявшем у местного руля. Кто-то донес куда следует о его неблагонадежности и исчез из жизни хороший человек.

Этот «кто-то» был, как говорили, некий невзрачный мужичонка, с бледным лицом покойника, по фамилии Теклин. Он спровоцировал какую-то свару в кузнице Матвея Осиповича и тот его энергично выпроводил вон. Говорили, что Теклин пообещал Матвею Осиповичу, что он горько покается за это, да будет поздно. Могло быть так потому, что ходили по городу слухи, что Теклин многих людей подвел под аресты.

Матвей Осипович погиб еще молодым полным сил и здоровья человеком. Кто-то рассказывал, что у него была такая твердая рука, что об ее ладонь можно было зажигать спички.

Мама пыталась как-то наладить отношения со вдовой Матвея Осиповича, но та однозначно дала понять, что в обществе нашей семьи она не нуждается. Леня как-то общался со своими двоюродными сестрами, но об этом я мало что знаю.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Грубка – это «голландка» (печь): в одной комнате топка и лежанка в другой; от пола до потолка стенка, в которой проложены колена дымовой трубы. – Прим. автора.

2

«Спасибо» – «спаси Бог», это выражение благодарности, принятое после Никоновской реформы Церкви; «спаси Христос», старообрядческая форма благодарности. Дед был истинным старообрядцем. – Прим. автора

3

Часовня (укр.) либо небольшое христианское здание без специального помещения для алтаря. – Прим. ред.

Купить: https://tellnovel.com/ru/mosyagin_evgeniy/staryy-dub-u-dedovskogo-doma-zhizneopisanie-blagopristoynoy-sem-i

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)